

Иван Ефремов
Лезвие бритвы

«ФТМ»

1963

Ефремов И. А.

И. А. Ефремов — «ФТМ», 1963

ISBN 978-5-17-091570-5

ISBN 978-5-17-091570-5

© Ефремов И. А., 1963
© ФТМ, 1963



И ИВАН АНТОНОВИЧ

ЕФРЕМОВ

ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

русская классика

Иван Антонович Ефремов

Лезвие бритвы

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=128089
Лезвие бритвы: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-091570-5

Аннотация

«Лезвие бритвы» – знаковое произведение писателя, отличающееся невероятной многоплановостью. Это и захватывающий приключенческий роман с несколькими сюжетными линиями, объединенными тайной легендарной черной короны Александра Македонского, и научная фантастика, наполненная фактическим материалом, теоретическими положениями и гипотезами и, главным образом, тонкий, как лезвие бритвы, философский трактат о духовном могуществе человека, торжестве разума, поисках красоты и любви.

Содержание

Пролог	6
Часть первая	11
Глава 1	11
Глава 2	28
Глава 3	37
Глава 4	51
Глава 5	60
Глава 6	83
Глава 7	96
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Иван Ефремов

Лезвие бритвы

Пролог

Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни. Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека.

И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой.

Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели.

5 марта 1916 года в Петрограде, на Морской, открылась выставка известного художника и ювелира, собирателя самоцветных сокровищ Урала Алексея Козьмича Денисова-Уральского.

Еще внизу, в гардеробной, где суетились, угодливо кланяясь, слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали, шелестя тугими платьями, дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом. «Речь» и «Петроградские ведомости» одобрили «патриотическое художество», посещение выставки стало считаться в столичном «свете» тоже патриотичным.

Низкие залы казались пустоватыми и неудобными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли одна-две стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилища.

Худошавый молодой инженер в парадном сюртуке так глубоко задумался у одной из витрин, что только прикосновение к плечу заставило его обернуться, встретить приветливой улыбкой крупного человека с острой бородкой, щегольски одетого.

– Ивернев, – зову, Максимилиан Федорович, – зову, не откликается. Горняцкое сердце выиграло от каменьев? И где это Алексей Козьмич такие откапывает?

– Собирались сотней людей и десятками лет, – возразил инженер на последний вопрос. – Хороши, в самом деле... Но вот я стоял и думал...

– Ага! Не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить!

Молодой инженер встрепенулся.

– Как вы правы, Эдуард Эдуардович! Да пойдете посмотрим еще раз.

Они обошли выставку, ненадолго задержавшись у каждой из скульптурных групп-миниатюр, как назвал их сам художник. Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. Две свиньи с челове-

ческими лицами из розового орлеца на подставке из бархатно-зеленого оникса – император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул Гамид – везли телегу с вороном из черного шерла, в немецкой каске с острой пикой. У ворона были знаменитые усы Вильгельма Второго – торчком вверх.

Дальше британский лев золотисто-желтого кошачьего глаза; стройная фигурка девушки – Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы; государственный русский орел из горного хрусталя, отделанный золотом, с крупными изумрудами вместо глаз... И опять – Козьма Крючков со знаменитой пикой и насаженными на нее немцами из змеевика на подставке из редкостного малахита небывало густого цвета, толстый султан-свинья из полированного мориона, улепетывающий от топазового английского единорога на берегу Черного моря – широкой пластины из гематита (красного железняка), кровавый отлив в отшлифованной черноте которого как бы напоминал о льющейся в Дарданеллах крови...

Искусство художника-камнереза было поразительно. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешевые карикатуры, годные для газетнки-однодневки, «недопрочитанной, недораскрытой».

– Довольно, пожалуй, – вздохнул инженер Ивернев.

– Довольно, – согласился его спутник, известный геолог Анерт, и повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины – модели уральских горных разработок. Гипсовые барельефы, отделанные натуральными породами, показывали в разрезе шахты и пещерки с согбенными черными фигурками горщиков – искателей самоцветов.

В витринах-столиках, расставленных вдоль стен и окон, сверкала нетронутая природная красота: сростки хрусталя, друзы аметиста, щетки и солнца турмалина, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня...

– Видите, Максимилиан Федорович, – Анерт кивнул на беленького мальчишку лет восьми, с круглой белой головкой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившегося на витрину с горками, – вот где оно, настоящее, что и младенцу понятно...

Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову-Уральскому и шли нарасхват, так же как и его коллекции уральских камней в больших и малых ящиках с клеточками-гнездами.

Горка – особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножия, иногда несколькими. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельностей гипса-селенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы «скалы» украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Кое-где вклеены черные зеркальца биотита, а в стенках «пещер» блестят, подсвечивая, прозрачные камни, листочки белой слюды – мусковита или цинвальдита.

Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка.

– Как тебя зовут? – погладил круглую головенку Ивернев. Мальчик нехотя поднял взгляд.

– Ваня. А что?

– Нравится горка?

– Угу!

– А что еще понравилось?

– Вот, – мальчик ткнул в шуф, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах, – плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блестками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина, – и вот, – мальчик ринулся к другой витрине.

Рядом послышалось шуршание шелка, повеяло духами «Грезы». Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика.

– Ваня, Ваня, пойдем же, пора! Ужасно поздно! – Она поднесла к носу мальчишки браслет с крохотными часами. – Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак – не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него...

– Не считайте сына чудачком, мадам, – улыбнулся Ивернев. – За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений.

– И не ошиблись! – склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищенный красивой дамой.

Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку.

– Не пойти ли нам покурить? – предложил Ивернев, но Анерт остановил его жестом:

– Пойдите-ка, Максимилиан Федорович, что я! Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науке. Вы собирались отдать их Денисову-Уральскому для огранки. И что же вышло?

– Что вышло – увидите, они тут, на выставке.

– Как же я мог просмотреть?

– А это значит, что ничего особенного не вышло.

Они подошли к высокой, столбиком, витринке, внутри которой на черном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам все того же неутомимого художника-камнереза.

– Вот они, – инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа.

В камнях, на которые показал инженер, на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской «зеркальной» гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета – прозрачного и в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины.

– Э, да это вовсе не так, – возразил Иверневу после долгого молчания Анерт. – Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Козьмича, то он просто молодец, и вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет. М-да... И что вы собираетесь с этим делать?

– Право, не знаю. Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости я заранее не договорился с Алексеем Козьмичом, а ведь, вы знаете, он купец прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу... – Анерт недовольно нахмурился.

– Прижимистый сами знаете почему – ему много надо денег, да не для себя – за уральское каменное мастерство воевать. А с этим где взял, а где и погорел. Не грех и заплатить как следует, у вас жалованье не плохое? Слышал я от Александра Павловича, что вам Минералогическое общество за отчет о туркестанских исследованиях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, и денежная премия последует.

– Все это так, – согласился Ивернев, – но... – он заколебался и выпалил: – Я женюсь, Эдуард Эдуардович!

– Вот что! Поздравляю! Спрошу на правах старшего, простите, – не наспех? По годам-то не рано... а вот война!

– В том-то и дело, что война! Скверная, долгая, никому не нужная. И моя Вера хочет на фронт, сестрой. Такая уж она. Что ж получится: я в Сибирь, она на фронт? А браком удержу! – улыбнулся инженер, но улыбка вышла какой-то неуверенной.

Анерт серьезно сказал:

– Коли так, помогай бог! Квартиру нашли?

– На Васильевском, хорошую.

– Зовите на свадьбу, Максимилян Федорович! Польщен признанием, как знаком дружбы. Однако насчет камней не ясно-с. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставьте Денисову-Уральскому? Лучше уж я куплю! Кстати, как вы назвали новый камень?

– Никак еще! Собирался описать, да сами знаете, какое сейчас время! Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами, комиссией этой, да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке – лучше меня знаете. Война окончится, тогда, дай бог, наукой займемся!

– Двадцать две причины, а главное – не было пороху! – усмехнулся Анерт. – Боюсь, что главная тут причина не в порохе. Шерше ля фам... Ну вот что, по старой дружбе – уважьте, раз так.

– Понимаю. С действительного статского советника Анерта Алексей Козьмич сдерет так, что все ваши проповеди о пользе камнерезного дела из головы вон! Следовательно, камни я выкупаю для вас! Вы на прежней квартире живете?

– Там же, на Троицкой, 23. А вот и сам Денисов, легок на помине!

В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов-Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, сын шахтера Березовского рудника, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был «последним выдающимся мастером каменного дела в России», как называли его газеты. Юношей оставшись без отца, он сумел обеспечить семью и приобрести известность своими «наборными картинами», то есть пейзажами, собранными из камней. В конце прошлого века Денисов-Уральский, уже известный художник по камню, учился на гроши в школе Общества поощрения художеств.

Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника.

«Чувство меры, подлинный вкус художника почему-то изменили нашему знаменитому камнерезу, – думал геолог. – Почему? Или с известностью, деньгами, большой дачей в Финляндии оборвалась та драгоценная связь с глубиной народного искусства, которая и дает безошибочное чутье настоящего?..»

Денисов-Уральский издали крикнул: «Здравствуйте, Ивернев!» – и тотчас отвернулся к шедшему рядом высокому человеку, продолжая разговор.

– Кто это с ним, Эдуард Эдуардович, вы ведь петербургское, тьфу, петроградское общество знаете?

– Персона довольно значительная: князь Витгенштейн!

– Ого, архимиллионер?

– Не тот! Кузеном ему приходится. И тоже богат!

– Ну тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим, а вечером я позвоню Алексею Козьмичу на квартиру.

– Нет, я уж пойду. Мне надо в Общество русских ориенталистов, тут по соседству, на Морской, – откланялся Анерт.

Денисов-Уральский подвел князя к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни.

– Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная, – сказал он, привычно упирая на «о», так как любил щегольнуть простонародным говорком, – других таких камней в России и, почитай, во всем мире не имеется! Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцветы, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный образец!

Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам.

Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован, и как бы невзначай заметил:

– Вчера был здесь Летуновский, Николай Николаевич, знаете – миллионер, на Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти, ей показать.

– Я бы дал за них... – Князь Витгенштейн подумал и назвал сумму.

Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов-Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену, близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы, а теперь капитуляция будет с его стороны и, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному.

Чтобы выгадать время, князь захотел посмотреть камни поближе. Денисов-Уральский послал за ключом, открыл витрину, и камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой.

Под усами художника мелькнула хитрая улыбка. Князь нахмурился и, глядя в окно, сказал:

– Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.

Часть первая Корни гнева

Глава 1 Анна

Ноги скользили по талому снегу. Гири́н ступал по-солдатски – на всю ступню, раскидывая желтые брызги. Два месяца прошло со времени его приезда в Москву, и только теперь он может выполнить просьбу друга. Два месяца, заполненных недоумением, бесконечными вопросами и хождением «по инстанциям». «Кто вызвал? Зачем вызвал?» – так встречали его, вопрошая с подозрением, как некоего ловкача, старающегося пробиться в столицу из «провинции». Не сразу сообразил Гири́н, что его демобилизация и вызов были ловким ходом в какой-то игре, сути которой он не понимал; узнал лишь, что его кандидатурой, как шахматной пешкой, заперли ход кому-то, чье возвышение по научной иерархии стало невыгодным неизвестному, обладавшему достаточной властью, чтобы оформить приглашение Гирина в Москву.

Гири́н не сомневался, что разгадает все, но пока мерзкое двойное чувство – обмана и самозванства – не покидало его и мешало как следует отстаивать свои права. «Но отбросим это пока...» Гири́н извлек из кармана потертое письмо – посмертную просьбу друга-скульптора, погибшего на фронте шестнадцать лет назад. Долго пришлось дожидаться и просьбе, и самому Гири́ну, но – военный хирург и начальник госпиталя – он не мог выбрать время.

Да вот эта улица, за стадионом «Динамо»! Гири́н еще раз посмотрел на план, сделанный четкой рукой художника. Большой серый Дом художников на Масловке показался суровым. В мастерских нижнего этажа за пыльными большими окнами двигались люди. Гири́н вошел в широкий подъезд и повернул от лестницы направо в коридор, загроможденный гипсовыми отливками статуй, бюстов, голов и вовсе бесформенными кусками гипса с торчащими из них проволоками ржавого каркаса. Они неприятно напоминали Гири́ну обломки гипсовых повязок, кучи которых накоплялись в углу двора его большого госпиталя. В темном коридоре Гири́н подвигался ощупью, извлекая из кармана фонарик. Первая, вторая, третья дверь... здесь! Но на двери висел продетый в кольца замок. Пришлось постучаться напротив, туда, где слышался разговор.

Маленький человек в халате, донельзя замызганном гипсом, вопросительно улыбнулся.

– Не скажете ли, как попасть в мастерскую Пронина? – спросил Гири́н.

Улыбка исчезла с лица маленького человека, а его собеседник – небритый человек в очках и черном поношенном пальто – нахмурился.

– Пронин, он, знаете ли... – забубнил он.

– Знаю все, – перебил Гири́н, – мне надо найти его мастерскую.

– Мастерская его занята другим скульптором... мною, – ответил человек в пальто.

– И давно?

– С пятидесятого года. Уже одиннадцать лет!

– Но как же скульптуры Пронина?

– Что ж поделать, выставили в коридор. Думали, кто возьмет из родственников, а у него их нет... или не интересуются.

– Вы сами скульптор и так спокойно об этом говорите? Ведь это варварство!

– Э, бросьте, такими вещами полна жизнь. Куда деваться? Я сам, когда вернулся, то нашел свое... там! – Художник показал в сторону двора, на котором громоздилось тоже немало обломков скульптур как памятник творческой борьбе и несбывшимся надеждам.

– Кстати, – продолжал он, – у Пронина почти ничего не было, только десяток небольших эскизов. Накануне войны он работал над единственной статуей...

– Да, да, где же она? – насторожился Гирин.

– Здесь.

– Как – здесь?

– Где же еще? Там вот, в конце коридора. Сохранилась, не отдали на дрова в войну...

– На дрова? – Даже выдержанный Гирин не мог скрыть возмущения.

– Кому она нужна! Из всех нас только Пронин упорствовал с нагой натурой. До войны было ему совсем плохо. Да и теперь в искусстве обнаженность... хм, не в моде. Натурализм, буржуазно...

– Спасибо, я все понял. С вашего разрешения посмотрю на статую. Всего хорошего!

Гирин шагнул в коридор, не обратив внимания на недоумевающие взгляды, которыми обменялись оба скульптора. Он поднял фонарик и сразу увидел у простенка за последней дверью большую деревянную статую в полтора человеческих роста. Окруженная безликим хламом изуродованных скульптур, она стояла в свободной и открытой позе, резко выделяясь живой тканью дерева среди белой слепоты гипса. Дерево потрескалось – глубокие черные трещины бороздили руку статуи и лицо справа, рассекали во всю длину левый бок и левое бедро, покрывали мелкими продольными штрихами всю фигуру. Гирин направил фонарь на лицо статуи. Она, Анна! Из глубины прошлого, через непреходимую бездну, отделявшую мертвую от живого, поднялось, ожило чувство утраты. Густая темная пыль покрывала голову и плечи статуи, будто древний знак скорби, и ее открытая обнаженность была так незащищена здесь, в холодном углу грязного коридора, что сердце Гирина сжалось, как в те давно прошедшие годы, когда незащищенность живой и юной Анны была предметом его острой жалости.

Разряженная батарейка фонаря быстро сдавала, свет мерк, но Гирин уже освоился с темнотой коридора и сунул фонарь в карман. Пахнувший плесенью полумрак скрыл неприглядность окружающего, трещины и пыль на статуе, которая ожила в неопределенной таинственности очертаний. Лицо скульптуры в мерцающей игре теней стало лицом той Анны, которую он увидел впервые много лет назад... Мгновение – и он уже стоял в сводчатой комнате с аркадами высоких окон – кабинете его учителя профессора Медникова, в одном из многочисленных корпусов Военно-медицинской академии Ленинграда...

Девятнадцатилетний студент первого курса, он отправлялся выполнять свое первое самостоятельное исследование. Профессор, веря в его способности, поручил ему добыть образцы питьевой воды, в употреблении которой он видел причины возникновения болезни Кашин-Бека в трех селах Поволжья. Загадочная болезнь выражалась в поражении суставов ног, преимущественно коленных. В суставах исчезал хрящ, и головки костей, лишенные хрящевой прослойки, терлись друг о друга при ходьбе так, что поверхность кости делалась отполированной. Нечего и говорить, что такая ходьба была очень мучительной – и от боли, и от затрудненности движений, скрипа и хруста в коленях. Болезнь встречалась только в трех деревнях одного района, соседствовавших с селами, в которых никогда не бывало и признаков этой болезни. Селения, пораженные болезнью Кашин-Бека, были давно известны в Забайкалье, на реке Урове, но там в дополнение к ней встречалось развитие зоба – зобная болезнь, как тогда считалось, вызывавшаяся отсутствием йода в чистой воде горных речек района. Профессор Медников подозревал, что и болезнь Кашин-Бека тоже обуславливалась нехваткой каких-либо химических веществ в воде или почве. Задача Гирина заключалась в том, чтобы собрать образцы почвы с полей и воды из колодцев и речек как из пора-

женных болезнью деревень, так и – обязательно – из совершенно здоровых соседних сел. Путем этого сравнения профессор хотел установить недостаток какого-либо из редких элементов и получить ключ к объяснению странного заболевания.

Так студент Гири́н в знойное лето 1933 года оказался на великой русской реке. Он уже сделал большую часть работы, когда в один из пасмурных дней ему понадобилось переехать на высокий правый берег Волги. Переправа через могучую реку – длинное дело, и паромщики подолгу выжидали, пока не наберется достаточно народу. Гири́н, которого благодаря военной форме все считали за солдата, весело перешучивался с задорными девушками, успел и серьезно потолковать со старым паромщиком, покуривая моршанскую полукрупку, пока, наконец, обшарпанный паром отчалил от берега. Всего две телеги переезжали на правый берег, и на площадке парома было свободно. Гири́н остался на корме, рядом с паромщиком, изредка подававшим негромкую команду своим опытным помощникам. Три молодые женщины задумчиво выплевывали шелуху семечек в волжскую желтоватую воду, а девушки собрались в кучку на носу, оживленно болтая о каких-то богородских парнях, явно более аванажных, чем ребята-односельчане. Только одна девушка стояла особняком, глядя на воду. В ее позе заметно было напряженное отчуждение, и, несмотря на то что ее отделяло от подруг расстояние не более сажени, Гири́н почувствовал, что это целая пропасть.

Теплый низовой ветерок нанес тучи поплотнее, поверхность реки стала оловянно-тусклой, брызнуло мелким, смахивающим на туман дождем. Правый берег расплылся в завесе дождя, стал далеким. Девушки замолчали, и даже крепкие важные молодки перестали выплевывать кожуру семечек.

– Эй, запевай! – крикнул старик паромщик. Гребцы рывкнули нечто хриплое, прокашлялись и после второй попытки умолкли окончательно.

– Позавчера престол был, – подмигнул Гири́ну синеглазый парень в косоворотке, – горла-то знаешь как надрали. Не можем теперь петь. Дядя Михаил, – обратился он к старшому, – с нами Нюшка Столярова переезжает. Пусть поет, перевезем бесплатно!

– А я и так ее всегда бесплатно беру, – ответил бородач, – за отца. Нюша!

На оклик старшего обернулась стоявшая отдельно девушка. Гири́н увидел скользкий взгляд темных глаз, взмах ресниц и несколько вьющихся прядок золотистых волос, выбившихся из-под косынки. Лицо девушки – широковатое, с высокими скулами – нельзя было назвать красивым, но в нем было что-то выделявшее ее из всех находившихся на пароме женщин. Тревожное, почти смятенное внимание, лукавство, доброта и горечь как-то странно перемешивались на лице девушки, мгновенно сменяя друг друга. Привлекательное, но беспокойное лицо.

– Петь, что ли, тебе, дядя Михаил? – спросила девушка.

Бородач ласково кивнул.

По тому, как насторожились девушки и подняли головы похмельные гребцы, Гири́н понял, что Нюша должна быть певуньей. Он не ошибся. Девушка повернулась к низовью реки, взявшись за перила парома, поставила босую и мокрую ногу на перекладину. Минута молчания, и глубокий сильный голос – настоящее меццо-сопрано – пронесся по серому туманному простору реки.

Ночь темна-темнешенька, в доме тишина...

С детства знакомые слова старинной песни о тяжелой женской доле зазвучали с трагической силой и чувством. Гири́н – сам любитель музыки и неплохой по студенческим меркам певец – замер. Пожалуй, он впервые слышал столь яркое исполнение «Лучинушки». Очень шла эта грустная мелодия к бессолнечному дождливому вечеру на широкой реке, к притих-

шей группе людей на стареньком, усыпанном трухой сена пароме, к размеренному аккомпанементу скрипучих весел. А голос Ньюши несся и звенел над Волгой:

Я ли не примерная на селе жена,
Как собака верная, мужу предана!

Яростная тоска песни невольно заставляла Гирина сжимать кулаки. Девушка умолкла, низко опустив голову, и паромщики издали дружное «Уфф!».

– Да, поет... – неопределенно ухмыльнулся синеглазый гребец. – Ну-ка, Ньюша, давай еще!

– Дай отдохнуть девке, ишь ты какой, – вступился старый паромщик, – пусть-ка другие теперь поют. – Глаза его озорно блеснули, уставившись на Гирина. – Вот тут студент, товарищ будущий доктор... (Гирина увидел, как Ньюша вздрогнула и подняла голову.) Неужели не сможет показать, как в столице поют?

– Я не из столицы, из Ленинграда, – поправил старика Гирина, – и до доктора мне как до неба.

– Все равно, еще того лучше – первый город, – не смутился паромщик. – Айда качай, студент!

Несколько секунд Гирина размышлял, что же спеть своим случайным попутчикам. И, отвечая внезапному желанию исполнить серьезную вещь, которая подходила бы к настроению этого вечера на реке, но не была бы полна такой отчаянной тоски, как «Лучинушка» Ньюши, Гирина запел серенаду Шуберта:

Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной...

Он пел, глядя на девушку, и замечал, как становилось строже ее лицо, а гибкая ладная фигура выпрямлялась, будто в стремлении подставить себя всю под звуки песни.

Никогда еще не пел он с таким воодушевлением, протестуя против дремучей деревенской судьбины, только недавно начавшей поворачиваться к настоящему свету.

Чувство неведомо откуда взявшейся силы помогло ему наполнить торжествующим властным призывом последние слова серенады:

И на тайное свиданье приходи скорей!
Приди, приди!..

– Эй, зазевались, ворочайся, а то придется бечевою подымать! – прервал молчание недовольный бас старшего. Гребцы начали поспешно рвать весла, и паром сошел со стрежня в тихий затончик под красными обрывами крутого берега. Еще несколько минут – и мочальные веревки были надеты на вбитые в дно колья. Гребцы потащили трапы для съезда телег.

– Здоров петь, студент! – крикнул ему синеглазый парень, как давнему знакомому. – Вот бы вас в пару с Ньюшкой-то! Приходи, завсегда перевезем без копейки, только пой!

Гирина улыбнулся паромщикам и сунул гривенник в заскорузлую руку дяди Михаила, заканчивавшего сбор денег.

– Торопишься, доктор? – проворчал старик. – Тебе, чаю, в Никольское?

– В Никольское. А может, у вас там есть кто знакомый? – спросил Гирина.

– Тебе чего, на квартиру стать? А сельсовет?

– Так мне недели на две, хочется по сговору у хороших людей.

– Постой-ка! Ньюша! – окликнул он уже спрыгнувшую на берег девушку-певунью. – Не возьмешь ли студента-то? Изба ведь большая да пустая!

Девушка залилась неожиданно темным, жарким румянцем.

– Да я бы рада... может, маме чего посоветует товарищ доктор... Только сами знаете, дядя Михаил, чем гостя-то пестовать, хозяйства нету.

Гирин не мог подавить в себе желание познакомиться с привлекательной и какой-то странной девушкой.

– Ну и что ж, – вмешался он, – разносолы мне ни к чему, а ведь молока да хлеба достанете? Если не стесню...

– Чего там, – явно обрадовалась девушка, – если только вам не покажется... ну, можно и перейти куда.

– Вот и сговорились, – довольно сказал старшой, как бы торопясь окончить дело. – Ты, доктор, ежели не торопишься, то посиди, покури со мной. Хочу еще спросить тебя насчет науки.

– Давай покурим... А как вас найти, Нюша?

– Как по этой дороге подойдете к селу, увидите крайний дом. Село невелико, один порядок, левая сторона долгая, правая короче. И тут сразу через ложбину справа бугорок, а на нем пятистенок с резным крыльцом.

– Гляньте, девки, Нюшка себе еще хахаля нашла! – вдруг визгливо крикнула одна из попутчиц, высокая, в темно-красном платке с цветами. – Сговаривается! Смотри, Нюшка, будет тебе от уразовского сынка выволочка! И студенту, я чай, достанется!

Девушка повернулась как подхлестнутая и быстро пошла в гору, скользя по размокшей желтой глине и не оглядываясь.

– Что вы, как вам не стыдно! – крикнул Гирин.

– Чего там, стыдно? Гуляющая она! Иль тебе лестно?

– Пошли прочь, кобылицы! – грубо приказал старик паромщик. – Только и знают страмить человека, а за что?

– Знаем за что! – хором закричали девушки и со смехом пошли по дороге.

Старик, недовольно хмурясь, отсыпал на ладонь махорки из коробки Гирина.

– Почему это они? – спросил Гирин. – Девушка какая-то очень хорошая.

– Таковую не скоро найдешь. Да неладно у ней судьба сошлась. Я всю их семью знаю.

– В чем же ей не повезло? Я сразу заметил, что у нее что-то неладно.

– Ага, студент, остановила взгляд твой Нюша! Да и впрямь только слепому не заметить.

Поживешь у них, может, поможешь чем, советом каким-то по лекарской части. Ладно это я удумал тебя на квартиру сосватать!

– Так...

– Не топчись, все объясняю порядком. Отец, вишь, Нюшкин – верховой волгарь, столяр, взят в дом к ейной матери. Воевал в германскую и Гражданскую, вернулся не то чтобы партийным, но сознательным и, конечно, по всем новым делам коноводом. Село это старое, богатое, кулаков много, а подкулачников и того больше – не полюбился им Павел, Нюшкин отец. Только еще разговоры о коллективизации пошли – случись тут кулацкая заварушка... – Старый паромщик нахмурился и запыхтел козьей ножкой.

– Восстание? – спросил Гирин.

– Нет, так, пальба бандитская. По ночам в окна стрелять да за кустами подкарауливать... Ну, между прочим, рассчитались и с Павлом. Вечером, как сидели Павел с женой да с Нюшкой за ужином, ворвались в избу двое с «наганами» и со страшной руганью Павла застрелили. Так мозги напрочь и вылетели. Жена Павлова, Нюшкина мать, повалилась как неживая, а Нюшка, тогда совсем девчонка, зверюкой на них бросилась. Ну, кто-то из бандюг ее двинул, не скоро в себя пришла.

– Разве никто выстрелов не слышал?

– Дом у них, сам увидишь, на краю села. А ежели кто и слышал, так ведь боятся, всяк о своей шкуре.

– И что же дальше?

– На том все и кончилось. Нюшкина мать с той поры не встает, не говорит, мычит только. Руки-ноги совсем отнялись. И Нюшка при ней как прикованная – куда денешься от родной матери? Дом хороший, хозяйство – все пошло прахом. Что девка одна-одиношенька-то сделает? Бьется как рыба об лед, батрачит, стирает, огородом малым пробавляется.

– А в колхозе что?

– Да вишь ли как, – паромщик грубо выругался, – повернулось дело, что вроде в драке, по пьяному делу Павла стукнули. Это у нас завсегда – чуть что, надо закон обойти, на пьянство валят. А я бы их, этих пьяных, еще того хлестче, – плюнул старик. – Словом, не было никакого вспомоществования, разве кто из добрых людей от своего куска отделит. Так ведь Нюшка гордая, не от каждого возьмет. Вот и сошлась жизнь девке клином, и нет вызволения!

– А почему ее гулящей зовут?

– Сам рассуди, коли понятие имеешь. Девка из себя особенная, такая стать нашего брата всегда манит. Чем шкурка красивей, тем охотники хитрей! Самые что ни на есть мастера по бабьему делу гоняться начинают. А молодость зеленая, да кровь горячая, закружилась голова в ночь жаркую – и пропала девка, пошла в полюбовницы. Тут уж все, что перед ней вились да стелились, в зверей оборотятся, рыло свое покажут. А уж бабье-то, не дай бог, так страмят, ну прямо в гроб загонят безо всякой жалости! Завидки их, что ль, берут на красоту да на смелость, не пойму, чего так нещадны, тож ведь молодые. Парень-то, что Нюшку окрутил, красив как сокол, а душой – змея, подкулачник раскудрявый. Не только жениться, даже никак от сраму прикрыть не хочет. Болтают на селе, что проиграл он Нюшку своему приятелю, что теперь она с тем путается, да не верю я! А бабы остервенелись просто. И живет девка бедная как в аду за свое доверчивое сердце, за доброту и красоту. Тьфу!

Старик расстроился и отмолчался на другие вопросы, которые попытался ему задать Гириин. Отсыпав паромщику полюбившейся ему махорки, студент взвалил на плечо свой чемодан и зашагал по подсохшей дороге, поднимаясь наискось на высокий берег.

Из тени обрывов Гириин вышел на простор полей, где тусклый свет заката прорвался сквозь ровную пелену туч и оживил красноватым отливом длинные лужицы в дорожных колеях и мокрую, свежесмытую листву мелких, корявых, как кустики, дубков. Большая белая церковь с граненым, недавно подкрашенным куполом тяжело осела на вершине холма, вдоль подножия которого протянулось село. Большие избы с высокими крытыми крылечками, несколько железных крыш и каменные амбары свидетельствовали о крепкой жизни местных хозяев, а выкрашенная в синий цвет большая лавка на каменной подклети надменно выпятилась из общего порядка домов, недалеко от церковной площади. Гириин сразу увидел дом Анны, она точно описала его. Давно не крашенный, серый, как большинство старых деревянных строений, дом тем не менее носил следы хорошей хозяйской руки. Резные наличники рам, резное, с фантазией, крыльцо с крепкой дверью, открывающейся не прямо в сени, а в длинную крытую галерею вдоль двора, – погибший отец Анны строил хорошо и красиво. Но хотя с его смерти прошло не так много лет, крыша уже подалась, ворота покривились, и забор жалобился плохо пригнанными случайными кусками досок и жердей. Гириин оскреб грязные сапоги, постучался и тотчас же услышал быстрый топоток босых ног. По тому, как широко распахнулась дверь и как просияло грустное лицо девушки, Гириин понял, что явился желанным гостем, и тут же обещал себе помочь ей как сумеет.

– Только-только успела прибраться, – слегка задыхаясь, сказала Анна и открыла дверь в довольно большую горницу, с широкой деревянной кроватью в ближнем углу, с чистым некрашеным столом и лавками.

Всю правую стену заклеивали плакаты из «Окон РОСТА» и агитплакаты Гражданской войны: суровые красноармейцы, могучие рабочие с огромными молотами, толстопузые буржуи во фраках и блестящих цилиндрах, кулаки, попы.

– Тихо у нас тут, – как бы извиняясь, сказала девушка.

– И очень хорошо, мне ведь заниматься надо! – сказал Гирин, ставя с решительным видом чемодан на лавку.

– Пойдемте, покажу, где что, – по-прежнему застенчиво и негромко позвала Анна.

Они вышли в задние сени, где Гирина ждал большой, доверху полный глиняный ручной мойник.

– Сюда вот, – Анна открыла разбухшую дверь в просторную кухню с русской печкой. – Мама здесь помещается, а я – налево, в запечной комнатке.

Гирин сразу почувствовал тяжелый запах помещения, в котором находится долго не встающий больной. Он зашел в кухню и поклонился еще не старой, страшно бледной и худой женщине, недвижно прислонившейся к груде подушек на покрытой пестрым лоскутным одеялом постели. Ее напряженные умные глаза, такие же, как у Анны, осмотрели Гирина внимательно и сурово, постепенно теплея.

...Со скрипом раскрылась дверь за спиной Гирина, и полутемный коридор осветился. Из студии вышли те двое. Скульптор в пальто пробормотал:

– Гость еще здесь. Созерцает! Значит, хороша!

– Проваливайте! – резко ответил ему Гирин, раздосадованный и помехой, и собственной несдержанностью.

Тот, язвительно прокричав что-то об интеллигентности и воспитании, скрылся. Нарушилась стройная цепь воспоминаний. Гирин быстро вышел из мрачного коридора, решив во что бы то ни стало найти для статуи Анны достойное пристанище. Гирин представил себе свою еще совсем пустую комнату, с походной койкой и небогатым скарбом, с огромной статуей под самый потолок, и даже развеселился. До приема, назначенного ему в институте, оставалось еще много времени. Гирин прошел двором к стадиону «Динамо», обогнул его и вышел на бульвар Ленинградского шоссе. Здесь, найдя обсохшую скамейку, он сел и, никем не тревожимый, унесся снова к дням далекой молодости...

Устроившись в доме Анны, он занялся исследованиями, заполняя герметические склянки водой и землей и тщательно упаковывая их в небольшие почтовые ящики.

Оставалось время и для неторопливых одиноких прогулок вдоль высокого берега Волги, и на кое-какую мужскую помощь Анне по дому. Покосившиеся ворота выпрямились, ступени заднего крыльца белели свежим деревом новых досок, а протекавшая над кухней и над сеновалом крыша теперь могла выдержать осенние дожди.

Однажды ночью Гирин был разбужен неясным шумом. Спросонок он подумал, не плохо ли с больной, и прислушался.

Затрещала дверь, два мужских голоса тихо забормотали угрозы, перебивая друг друга. Снова молчаливая борьба, и Гирин услышал задыхающийся гневный шепот Анны:

– Уйди, не хочу... зверь... Мать услышит, ее хоть не мучь!

– Что твоя мать – чурбак с глазами! – забубнил нарочито гнусавый голос. – Будет кобениться...

– Пользуешься, что мать больная, ух ты, подлюга! Ой!

Дверь в комнатушку Анны раскрылась и захлопнулась. Один из пришельцев удалился, нагло топоча сапогами. Гирин стоял в нерешительности, загоревшись яростным желанием дать бой негодяям и боясь вмешаться в неизвестные ему отношения. Но когда он начал размышлять о тяжелой трагедии Анны, его невмешательство показалось ему постыдным.

Он лежал без сна, жалея о том, что, несмотря на свой рост и большую силу, он все же лишь неопытный мальчишка. И так захотелось ему быть суровым и бородатым вроде паромщика. Тогда он был бы уверен, что не уступит девушку ее нелепой судьбе.

Гирин заснул лишь под утро и поднялся, когда солнце уже высоко стояло над кустами вырубки, почти вплотную подхлотившей под его окна. Анна принесла ему обычный завтрак: холодного молока, яиц, хлеба. Она низко повязалась платком и ходила, опустив прикрытые ресницами глаза. Взгляд, брошенный украдкой, и зардевшиеся щеки Анны показали Гирину, что ее мучает стыд. Нет, Анна отнюдь не походила на счастливую возлюбленную, и Гирин решил как-то действовать.

Весь день, обходя очередные поля, колодцы и родники, он думал, как вызволить Анну из ее жестокой кабалы. Ключ к решению вопроса заключался в болезни матери – Анна не могла расстаться с парализованной ни при каких условиях. Взять с собой в Ленинград Анну с больной матерью было не под силу одинокому студенту.

Значит, прежде всего надо было или устроить мать Анны в хорошую больницу, или... вылечить ее. И тут, возобновляя в памяти все, что было ему известно о лечении психических параличей, Гирин вспомнил некогда прогремевший на весь Ленинград опыт профессора Аствацатурова. Выдающийся невропатолог, начальник нервной клиники Военно-медицинской академии, прозванный студентами «Дантовым адом» за скопление устрашающе искалеченных нервными повреждениями больных, принял привезенную откуда-то из провинции женщину, пораженную психическим параличом после внезапной смерти ребенка. Как раз таким же параличом, как мать Анны, то есть она могла слышать, видеть, но была не в состоянии говорить и двигаться. Знаменитый Аствацатуров оставался для той женщины последней надеждой – все усилия лечивших ее врачей были безрезультатными.

Аствацатуров целую неделю думал, намеренно не встречаясь с больной, пока не пришел к смелому и оригинальному решению.

После долгого и напряженного ожидания больная была извещена, что сегодня ее примет «сам». Помещенная в отдельную палату, в кресло, прямо против двери, парализованная женщина была вне себя от волнения. Ассистенты профессора объявили ей, чтобы она ждала, смотря на вот эту дверь, «сейчас сюда войдет» сам» Аствацатуров и, конечно, без всякого сомнения, вылечит ее. Прошло четверть часа, полчаса, ожидание становилось все напряженнее и томительнее. Наконец с шумом распахнулась дверь, и Аствацатуров, громадного роста, казавшийся еще больше в своем белом халате и белой шапочке на черных с проседью кудрях, с огромными горящими глазами на красивом орлином лице, ворвался в комнату, быстро подошел к женщине и страшным голосом закричал: «Встать!»

Больная встала, сделала шаг, упала... но паралич прекратился. Так ленинградский профессор совершил мгновенное исцеление не хуже библейского пророка. Он использовал ту же гигантскую силу психики, почти религиозную веру в чудо.

Как бы сделать что-то подобное в отношении матери Анны – ведь психические параличи могут быть вылечены именно таким сильнейшим нервным потрясением. Но как заставить женщину, уже несколько лет живущую в безысходном отчаянии, придавленную еще трагедией дочери, не понимать которую она не могла, – как заставить ее поверить в мальчишку-студента, хотя бы и приехавшего из такого «ученого» города? Нет, способ Аствацатурова не годится, а что же он, Гирин, может придумать?..

Прошло два дня, и Гирин (он теперь старался заснуть не сразу, а лежал в темноте, чутко вслушиваясь в ночную тишину) вновь вскочил от воровской возни с дверью со двора. Настойчиво пытались отодвинуть деревянную щеколду. Гирин выскочил в сени в тот момент, когда дверь распахнулась и неясная тень возникла на пороге у входа в комнату Анны.

– Стой, застрелю! – тихо и спокойно, сжав зубы, сказал Гирин.

– Но-но, ты чего? – забормотала фигура, опасно вытянув вперед шею.

– Пшел, убую! – рявкнул Гирин, поднимая зажатый в руке коленчатый шприц. Темная фигура опрометью бросилась в темноту двора, кто-то упал, охнул.

Анна вышла из своей комнаты с зажженной спичкой, увидела Гирина: еще дрожа от возбуждения, он накрепко запирает дверь. За две-три секунды света Гирин прочел такую благодарность в ее встревоженном и восхищенном взгляде, что и впрямь почувствовал себя героем.

– Спасибо, родной, – громко сказала Анна. Гирин пробормотал что-то.

– Надо поглядеть на маму, – продолжала девушка, жестом предлагая Гирину следовать за ней.

Они вошли в кухню, освещенную крохотной лампадкой – у большой огонь горел всю ночь, – и сразу же встретились с широко раскрытыми глазами парализованной. Безусловно, она знала все – при виде вошедших ненависть в ее взгляде сменилась торжеством. Анна стала поправлять подушки, шепча что-то матери. Гирин почувствовал себя лишним, поклонился, понял, что сделал это как-то глупо, по-городскому, и, смутившись, вышел. Внезапная догадка, еще невнятная, едва-едва намечающаяся, пришла ему на ум при виде глаз матери Анны. Она не исчезла, а оформилась, когда он лежал на постели и глядел на звезды в верхних стеклышках маленьких окон.

Веры в могущество его, Гирина, веры в исцеление не было у матери Анны. Но другая, могучая эмоция могла, пожалуй, произвести необходимое потрясение – сила ненависти. Ненависти к тем, кто убил ее мужа, так ужасно искалечил ее собственную жизнь и теперь еще издевался над молодостью и чистотой ее дочери. Да, это была реальная надежда! И единственная попытка излечения должна быть обставлена со всей возможной тщательностью!

Выдался серенький день. Гирин шагал вдоль высокого берега Волги, направляясь в дальнюю деревню – последнюю, которую ему оставалось обследовать на правом берегу. Ветер уныло шелестел поспевающим овсом, широкими разливами клоня его метельчатые верхушки. Не успел Гирин отойти с полверсты от села, как впереди него, на дороге, из кустов на бровке обрыва возникли две мужские фигуры. Сердце Гирина забилося – подходил момент расплаты за ночное геройство. Твердо решив не уступать, он неторопливо приблизился к ожидавшим, сунул руку в правый карман и остановился. По светлым кудрям, прикрытым зачем-то каракулевой кубанкой, Гирин определил обольстителя Анны, действительно красивого человека с наглым взглядом выпуклых голубых глаз. Другой, пониже ростом и поплотнее, с зоркими медвежьими глазками, не выделялся ничем, кроме одежды – пиджака из отличного шевиота, надетого на нарядную рубашку, и таких же галифе, заправленных в сапоги, лучше которых не носил и начальник Военно-медицинской академии.

Оба неприятеля медлили, обменявшись быстрыми фразами, не расслышанными Гириним. Они, не отрываясь, смотрели на его засунутую в карман правую руку, и тут Гирин сообразил. Его враги уверены в том, что у него есть оружие. В самом деле, военная форма Гирина и его непонятные занятия, вероятно, делали его загадочным, а следовательно, и опасным для недобрых людей. Студент – а вроде военный, доктор – а ходит по деревням, ищет колодцы и родники... Он решительно шагнул вперед, сделав жест, как бы сметающий с дороги. Оба парня неохотно отошли на обочину, и Гирин прошел мимо, следя уголком глаза за врагами.

– Эй ты, студент, али красноармеец, али кто еще! – окликнул его кудрявый красавец. Гирин остановился.

– Ты вот что, – с деланным миролюбием и угрозой продолжал парень, – в наши дела не мешайся и с девкой гляди не схлестнись. Дело твое чужое, прохожее, дак кончай его и – айда! А не то...

– А не то? – Гирин взглянул ему прямо в лицо, чувствуя боевую злобу, возникающую у доброго человека, когда он сталкивается с темной силой людского зверства.

– Отделаем по-свойски, – оскалился приземистый в богатой одежде, – так что в этом году не придется, пожалуй, за чужими девками бегать!

– Последнее тебе слово, – перебил кудряш, – а не так – пеняй на себя. Нас тут много, да ночи темные наступают – не поможет и «наган» твой.

Гирин не спеша пошел по дороге, раздумывая над встречей. Даже если бы у него был «наган», то все равно в любом месте, за любым кустом, у колодца или на дороге его могла подкараулить лихая засада, оглушить чем попало и если не убить, то отделать так, что прощай все планы спасения Анны и скорого возвращения к занятиям. Гирин чувствовал, что помощь Анне сделалась ближайшей целью его существования, и он не мог ни под какими угрозами отказаться от нее. Однако было бы неумно не отдавать себе отчета в явной опасности.

Гирин в размышлении отошел уже на две версты от села, как вдруг повернул и зашагал обратно. Не без труда разыскал он жоака немногих сельских комсомольцев, угрюмого, озабоченного парня, усердно подшивавшего старую седелку. Парень неодобрительно выслушал Гирина, свернул сигарку, затянулся, сплюнул под ноги.

– Лезешь не в свое дело, – процедил комсомолец, – али полюбилась Нюшка-то? Брось это, как друг говорю. Сама виновата, спуталась с бандитским элементом еще в двадцать девятом – туда ей и дорога! А тебе нечего башкой рисковать.

Нотка горечи прозвучала в ответе парня, и Гирин, ставший за последние дни необычайно чутким, понял. Он придвинулся ближе к комсомольцу и негромко стал выкладывать ему собственные мысли об обманутой девушке.

– И ежели ты ее любил, – внезапно сказал Гирин, – так твое дело не воротить морду, будто ты святоша какой, а помочь по-серьезному. Вырвать ее отсюда надо, а не отдавать на растерзание. Они глумились, а ты, как сукин сын, смотрел да радовался.

– Ну на это ты не налегай, полегче! – озлился парень.

– И ничего не полегче! Подумаешь, так сам поймешь... Только думай скорее.

– Дак я разве против... Только чем я али мы помочь можем? Охрану тебе выставить – разве можно? Трое нас, и так-то сами завсегда под угрозой.

– Не о том я! Разыграть надо одно представление. Нужны два «нагана» да человек надежный, постарше нас с тобой... – И Гирин протянул комсомольцу свою знаменитую махорку, объясняя, зачем требуются эти странные приготовления.

Парень, слушая, улыбался все шире, показывая крупные ровные зубы.

– Ну голова! – хлопнул он по плечу Гирина. – Вишь, не даром вас там учат, одевают да кормят. Того стоит... Айда, пошли! – Комсомолец повесил седелку на гвоздь, аккуратно убрал шилья и ремешки, подпоясался.

Они зашагали в другой конец села, где в крохотной избенке жил бывший красноармеец, член партии Гаврилов, бледный и худой, еще не вполне оправившийся от сильной болезни. На счастье, он оказался дома и обрадовался, увидев на посетителе военную форму.

Гирин вторично изложил свой план. Гаврилов сначала хмурился, возражая, но потом расплылся в усмешке, так же как и комсомолец. Только усмешка его была недоброй, не обещающей ничего хорошего насильникам и скрытым бандитам. Он расправил жидковатые усы и, сощуривая острые глаза, повернулся к комсомольцу:

– Выходит, приезжий-то, Иван... как вас по батюшке?..

– Не надо, молод еще!

– И то, Ванюшка-то крепче тебя оказался, да и смекалистей!

– На то он и ученый.

– Лукавишь, Федька! И по роже видно, врать не можешь. Коли ежели бы да не ходил сам за Анной, скорей бы сообразил, что делать. А тут, вишь, ослеп!

– Ладно, дядя Андрей, будет уж. Порешили ведь. Значит, Иван сговаривается с Нюшкой, а завтра мы к ним туда заявляемся.

– Так-то так, – вдруг заколебался Гаврилов, – а как вдруг старуха загнется?

– Ух ты! – завопил Федор. – Тогда всех засудят. Ой, не подумали!

– Не всех – меня, – решительно возразил Гирин, – расписку дам. Сейчас написать?

– Ладно уж, там увидим. Сначала дело. Ответ потом.

– Ну, спасибо вам, прямо до земли, – облегченно вздохнул Гирин. – Получится или нет, видно будет, а за помощь и за дружбу кланяюсь.

– Чего там, тебе самому спасибо, что надоумил. Хотя... подозреваю, свою корысть имеешь, – уставился вдруг Гаврилов на покрасневшего Гирина. – Да ничего, что тут плохого! Этот, – показал бывший солдат на комсомольца, – не в счет. Нюшку он потерял.

– Да не нужна она мне вовсе, – оправдывался парень, – на что ее, Анну, теперь!

Гирин медленно шел к дому, обдумывая предстоящий разговор с Анной. Надо было, чтобы она постаралась вспомнить обличье тех, кто убивал ее отца, и согласилась стать действующим лицом маленькой инсценировки, задуманной Гириным. Ходу логических заключений мешало что-то досадное, резанувшее его при последних словах комсомольца: «На что ее, Анну, теперь!» В этих словах заключалось все дремучее «достоинство» обойденного мужчины, горький и злой отказ от той, которая уже посмела принадлежать другому, не ему. И если этот был к тому же явная сволочь? Разве не прав Федор?..

Едва Анна поняла задуманное Гириным, как страшное волнение охватило ее. Взявшись ладонями за виски извечно девическим жестом, она затаив дыхание слушала студента и долго старалась вспомнить лицо убийц отца. Она не сумела точно описать их – при тусклом свете пятилинейки негодяи ворвались с нахлобученными фуражками, одетые в поношенную военную форму. Однако это было к лучшему и позволяло обойтись без грима, для которого не было никаких приспособлений и никакого умения. Гирин решил, что одним из «бандитов» будет сам, а вторым – Гаврилов. Кричать придется Гаврилову, так как больная уже знала голос своего жильца. Ничем, даже мелочью, нельзя было рисковать. Гирин сделал новые запоры на дверях и окнах, какие и лошади не под силу сломать. Нечаянное вторжение «приятелей» Анны могло бы испортить дело. Когда все было подготовлено, Гириным овладела страшная тревога.

Он почти не спал ночь и весь день не мог найти покоя, пока не отправился за Гавриловым и Федором. Комсомолец соглашался дать свой «наган», но лишь с условием, что сам будет поблизости. Гирин увидел бывшего красноармейца донельзя разозленным. У Федора тоже горели уши, как у обруганного.

– Ты посмотри, – обратился Гаврилов к Гирину, показывая на полдюжину исковерканных наганных патронов, – это я старался пули вынуть. Какая собака так придумала – засажено насмерть, ничем не вытащишь!

– Хорошо придумано: без пули враг не останется, – улыбнулся Гирин.

– Тебе хорошо, – буркнул Гаврилов, – а для меня да для него патроны дороже золота...

– А ты напильником гильзу срежь наполовину, – посоветовал Гирин.

– Тогда как стрелять? Огнем шарахнет из барабана!

– И черт с ним! Еще страшнее будет. Только держи подальше от глаз...

– И то! Дело сказываешь... вот эти, которые испорченные, пойдут теперь. Двух хватит?

– Пожалуй, надо три... Помни: сперва ты стреляешь вверх при входе, потом я в Анну, а там ты целишь в мать!

– Чудно все это! Ну ладно, сказано – сделано! Сейчас пойдем.

Начало темнеть, когда Анна стала собирать на стол перед постелью матери, нарочно запозднившись. Они всегда ели вместе – Анна придвигала стол, усаживала больную и кормила ее, потом ела сама, и мать следила за ней тревожно, ласково и жалостно. Сегодня

девушка с трудом скрывала от матери колотившую ее нервную дрожь. Покормив больную, она села за стол и переставила маленькую лампу на дальний конец стола. Это был сигнал. С грохотом распахнулась отброшенная сапогом Гирина дверь. Изрыгая гнусную матерщину, в кухню ворвались двое бандитов в расстегнутых гимнастерках, с низко нахлобученными фуражками и «наганами» в руках. С воплем вскочила, опрокинув стул, Анна. Хлестнул выстрел, наполнив избу громом и кислой вонью бездымного пороха. Широко открыв рот, с вылезавшими из орбит глазами, мать Анны уставилась на Гаврилова, который завизжал, как от нестерпимой злобы:

– Ага, попалась! Тогда не добились Павлову суку, теперь пришла пора! Степка (это к Гирину), застрели ее отродье, а я с ней расправлюсь! – вопил Гаврилов, прицеливаясь в переносицу больной.

Но она, белая как мел, не смотрела на него, а следила за метнувшейся к окну дочерью. Грохнул второй выстрел, и Анна повалилась под лавку. Гаврилов и Гирин яростно заревели. Бывший солдат уже прицелился в больную, как произошло то, чего добивался Гирин. Забыв обо всем на свете, кроме своего застреленного детища, мать Анны вдруг издала неясный крик и рванулась с постели.

– Ды-ы-о-ченька! – раздался ее навсегда запомнившийся Гирину вопль.

Больная рухнула на пол, сильно стукнулась головой и, очевидно сделав чудовищное усилие, уцепилась за лавку, пытаясь встать. Гирин и Гаврилов бросились к ней, подхватывая ее под руки. Из последних сил мать Анны попыталась плюнуть Гирину в лицо и потеряла сознание. Гирин, положив ее на постель, слушал пульс, «ожившая» Анна кинулась за водой в сенцы и столкнулась с любопытным и встревоженным Федором. Комсомолец тяжело ввалился в избу и первым делом ухватился за свой «наган», брошенный Гириним на стол.

– Ну как? Что? Получилось? Али насовсем убили? – приставал он к Гирину, который только мотал головой, стараясь привести больную в чувство.

Наконец холодная вода, растирания, нашатырный спирт возымели свое действие, и мать Анны открыла глаза. Недоумение, граничащее с безумием, мелькнуло в них, когда она увидела склоненную над ней дочь, живую и невредимую.

– До-чень-ка, Ан-нушка... – глухо и невнятно, запинаясь, сказала больная и с усилием подняла тонкую руку, вернее, обтянутый кожей скелет руки.

Анна упала на ее постель, разразилась безудержными рыданиями. Гирин отступил и огляделся. Гаврилов, весь мокрый от пота, утирал лицо рукавом и приводил в порядок свою поношенную, но аккуратную форму, нарочно расхлыстанную им для приобретения бандитского вида.

– О, и труханул же я, когда Марья... того. Думал, загнулась насовсем, и что же теперь будет? Рисковое, брат, дело! И как это ты сумел меня в него впутать? Обошел ведь, – сердито бурчал Гаврилов, смотря на студента с ласковым одобрением.

– Я больше перетрусил, – признался Гирин. – Затеял дело! А ведь дело таково, что очень просто убить человека. Все перед глазами у меня был Аствацатуров, тот профессор, о котором я вам рассказывал. Поверил я в него не хуже той больной.

– Ладно, вижу, что добром кончилось. Я пойду. – И он приблизился к постели с хитрой улыбкой. – Будь здорова, Марья! Подымайся теперь скорее! – сказал Гаврилов и вышел в сопровождении Федора, немного от изумления.

Каждая жилка еще дрожала в теле Гирина, в горле стоял комок, когда он слушал невнятные, звучащие каким-то нелепым иностранным акцентом слова матери Анны. Впервые после мучительных и долгих лет она могла выразить дочери всю любовь, заботу и тревогу – то, что до сих пор силилась передать глазами. Слезы безостановочно катились по щекам обеих женщин, прильнувших друг к другу в этот час чудесного избавления. Гирин медленно

повернулся и шагнул к двери. Анна вскочила и бросилась к ногам донельзя смущенного студента.

– Что вы... как можно... какая ерунда... – запинаясь, забормотал Гирин, одним сильным движением поднял Анну и укрылся в своей комнате, слыша рыдания: «По гроб обязана... никогда не забуду... навеки...»

Страшное напряжение и жгучие опасения последних суток так измучили Гирина, что он обмяк и оступел. Механически свертывая сигарку, он присел на кровать, не раздеваясь и не снимая сапог, попробовал обдумать дальнейшее лечение Аниной матери и... проснулся поздним солнечным утром. С удивлением оглядевшись и потягиваясь онемевшим телом, Гирин поднялся с огромным облегчением. Нечто очень трудное и страшное осталось позади, он победил. Настоящая победа, самая радостная... Какое это счастье – избавить человека, нет, двух от незаслуженно тяжелой судьбы, от последствий давнего преступления! Теперь дело времени, и не очень долгого, чтобы излеченная от паралича мать Анны стала нормальным человеком.

За дверью послышались осторожные шаги босых ног – видимо, не в первый раз Анна подходила и прислушивалась, боясь разбудить.

– Анна! – окликнул ее Гирин, и девушка вихрем ворвалась в комнату, на секунду замерла, ослепленная солнцем, и, вскрикнув: «Родной!», бросилась ему на шею. Безотчетно Гирин обнял Анну, девушка крепко поцеловала его в губы, застыдилась и убежала.

Ошеломленный этим бурным проявлением чувств, Гирин не сразу пошел на хозяйскую половину проведать мать Анны. Трудно человеку в девятнадцать лет, да еще застенчивому по природе, слушать восторженные благодарности, граничащие с поклонением. Еще труднее, когда эти слова произносятся в трогательных и жалких усилиях – губами и языком, еще непослушными после пяти лет безнадежного молчания. И совсем уже неловко, если рядом сидит прелестная девушка и ловит, как дар свыше, каждый твой взгляд и каждое слово. Гирин кое-как вытерпел неизбежное. Он узнал о порядочном переполохе среди соседей, вызванном ночной стрельбой, криками и руганью. Никто не мог ничего понять, а Гаврилов с Федором отмалчивались. Во всяком случае, таинственные дела в доме Анны отразились и на ночных посещениях – покой выздоравливающей ничем не нарушался.

Гирин отправился в Коркино – дальнюю, еще не обследованную деревню – и вернулся через четыре дня, чтобы убедиться, что мать Анны могла уже понемногу ходить по избе и даже выбираться на крыльцо. Новость потрясла всех односельчан, и, видимо, кто-то из помощников Гирина в конце концов проговорился. Даже недоброжелатели, до того смотревшие на студента как на пустое место, стали здороваться. Наглые парни ничем себя не проявляли, но Гирину пора было уезжать.

Анна как будто избегала его в последние дни, до тех пор пока Марья не позвала однажды вечером дочь и студента на семейный совет. Кухня, начисто проветренная, с запахнутыми окошками, преобразилась. Гирин с удивлением увидел, что мать Анны, которую он считал старухой, вовсе не стара и сохранила многое от прежней, унаследованной дочерью, красоты. Женщина наливалась жизнью с каждым днем, и с каждым днем становилась решительнее в определении своей дальнейшей судьбы.

– Лишний день оставаться здесь не могу, – говорила она, – в этой избе проклятой. Здесь, где убили Павла, где мы с дочерью мучились без просвета, почитай, пять годов, нет, нежитье тут! Куда угодно, только не тут.

Анна выжидательно смотрела на Гирина. Тот напомнил свой совет Анне – ехать в город и поступать на рабфак. Мать могла теперь найти работу в городе, а Гирин обещал приискать в Ленинграде дешевую комнатку.

Дом, с любовью строенный Павлом, был еще хорош, и денег от его продажи могло хватить на первое время, пока все устроится.

Анна радостно завертелась по кухне, а Марья по-прежнему медленно, но теперь уже совершенно внятно произнесла:

– Ладно, зови завтра же Обьедкова – он давно к тебе с домом приставал, чтоб продали. Я сама сделаю уговор, и поскорее. Только вот что, дочка, чтобы нам тут без Ивана не оставаться – сама знаешь почему! Надо поехать вместе до пристани. В Богородском пока на квартиру станем. Был бы ты сам с родными из Ленинграда, тогда бы, пожалуй, я попросилась бы с тобой. А так – лучше подождем в Богородском, нас никто там не тронет. Да и я обвыкну больше – думаешь, легко с края могилы вернуться, опять жить начинать?

Так и решили. Собрать и связать имущество Столяровых было пустяковым делом. Анна в последние два дня вставала до света и исчезала куда-то, появляясь лишь поздним утром. Гирин не мог подавить в себе брезгливое подозрение и стал невольно отстраняться от девушки, пока она сама не позвала его с собой. На вопрос «куда?» Анна лишь загадочно улыбнулась и, сжав руку Гирина своей – горячей и жесткой, шепнула: «Увидишь сам!»

Гирин встревожился – откровенная любовь смотрела из радостных глаз Анны. Завтра должен был быть последний день их пребывания в селе. Увлеченный своей ролью рыцаря-спасителя, он не заметил, как стал очень нежен с Анной, поддавшись обаянию девушки. А ведь в Ленинграде его ждала гордая Настя с глазами, как незабудки, – студентка биофака, его ровесница. Он, честно сказать, немного позабыл о ней в своих приключениях, но теперь все это отходит и... надо держать ответ перед Анной. Гирин знал, что после такого разговора все будет по-иному, не хотел этого и откладывал выяснение отношений. Но, пожалуй, завтра отступить будет некуда!

Анна разбудила Гирина, когда небо еще не начало светлеть. Яркие августовские звезды мерцали особенно сильно и приветливо. Уборка хлеба была в разгаре, и днем село пустовало, предоставленное детям и старикам, но время было раннее даже для жнецов. В избах загорались огоньки, и хозяйки только начинали сборы. Анна и Гирин не встретили ни одного человека и, незамеченные, вышли за околицу, направившись по Лешновской дороге на север. Невдалеке начиналась роща стройных сосен, давно уже не знавших вырубки. Гирин остановился, чтобы задать Анне какой-то вопрос, но девушка, сосредоточенная и торопливая, молча потянула его за рукав. Студент ускорил шаг. Полевая дорога, покрытая толстым слоем пыли, глушила стук сапог, и Гирина казалось, что он крадется в ночной тиши, подобно зверю.

Дорога отвернула от полей, сузилась в тропинку. Лесная трава и маленькие кустики были обильно смочены росой. Анна высоко подоткнула юбку, быстро переступая мокрыми босыми ногами, а поношенные сапоги Гирина начали хлюпать. Колени намочили в холодной росе. Гирин шагал за спешившей и молчаливой Анной, наполненный ожиданием чего-то хорошего. Узкий серпик луны висел над приближавшимся лесом, но давал света меньше, чем крупные звезды и едва-едва заметный проблеск нарождавшейся справа за лесом зари.

Странное чувство взволновало Гирина. Он как будто ушел из мира повседневных дум и забот, мыслей о скором свидании с полюбившимся накрепко Ленинградом и синеглазой Настей, об отчете перед профессором, о неожиданном излечении матери Анны, о том, как помочь Анне устроить новую жизнь... Первобытное чувство слияния с природой отодвинуло все. Осталось настороженное ощущение, что он идет, наслаждаясь быстротой, тишиной, росяной влагой и призывом звездных огней, рядом с Анной, в бесконечно свободную и все обещающую даль. Но звезды исчезли. Их сменил глубокий мрак высокоствольного леса. Бор рос на длинном песчаном валу, когда-то нагроможденном ледником. Здесь было сухо, белый мох шуршал под ногами. Гирин знал такие боры – в них почти нет травы или кустов, скот пасти здесь нельзя. За исключением грибного времени, эти леса совершенно безлюдны. Сейчас, в уборочную страду, можно быть уверенным, что не встретишь ни одной живой души.

Медленно рассеивался ночной мрак – за лесом поднималась заря. Суровая серая мгла заполняла лес, сквозь ветки которого уже просвечивало медное восточное небо. Чувства Гирина изменились. Он был уже не зверем, бездумно впитывавшим в себя все запахи, шорохи и огоньки природы, а человеком, торжественно, как художник, вступающим в таинство лесного храма в момент пробуждения природы от ночного сна.

Лес окончился, они вышли на широкую поляну на самой вершине холма. Сумеречный простор был внезапен после лесных стен, ветер бодрящей волной прошел над поляной, чуть пригладившая высокую, обильно покрытую росой траву. От медной зари миллионы ее капель отливали то теплой краснотой, будто бесчисленные искорки развешанного костра, то холодным серебряным блеском, просвечивающим сквозь редящую тьму. Жемчужные полосы предрассветного тумана вились покрывалом над росистой поляной и никли, стелились, уходя в черную, глубокую тьму на опушке высокоствольного леса.

Разгоревшаяся заря гасила серпик месяца, все шире расходилась россыпь гранатовых огоньков, стебли травы оживали. Тишина и тайна реяли над этой поляной, молчаливо прощавшейся с умирающими звездами. Все замерло, лишь туман вел свою волшебную игру, становясь все более розовым и неясным. Гирин подумал, что, может быть, правы наши предки, верившие в чудодейственную силу росистого утра. Во всех былинах и сказках люди купались и купали своих лошадей на рассвете в росе, чтобы приобрести особенную выносливость для борьбы с врагами. Кто знает, какая сила скрыта в этой поляне, впитавшей в себя и ночное сияние звезд, и первый свет рождающегося дня? Он ощутил, как расширяется грудь, набирая живительный воздух, как сильно стучит его сердце. Анна приняла шумный вздох Гирина за нетерпение. Рука девушки нашла его руку, и он услышал шепот:

– Это здесь, видишь?

– Что – здесь?

– Заветная поляна. Я уж который раз бегаю сюда на рассвете – омыться в росе.

– Как это ты делаешь?

– Меня одна старуха научила. Ну, разденешься совсем как есть и бежишь через поляну стремглав, потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят. Поначалу замрешь вся, сердце захолонет, к горлу подступает – роса-то холодная, много ее, так и льет с тебя. А потом разогреешься, тело горит пламенем, вся усталость отходит. Оденешься и идешь домой, а на душе покойно, и вся ты насквозь чистая, как в небе побывала! Это место не простое, древнее, старики говорят, тут тыщу лет назад идолы стояли, с тех пор такая поляна круглая. А траву здесь не косят – говорят, скотина с нее болеет: сила большая в бурьяне этом.

– А ты не боишься, что заболеешь? Ведь так и простудиться можно.

– Не заболею я, только крепче стану. – И девушка пристально взглянула на Гирина. Глубокие тени делали лицо Анны таинственным, и вся она, выпрямившаяся на фоне зари, показалась Гирину величавой.

– Тогда зачем же не купаться просто в реке? – спросил он, пытаясь как-то отвлечься от все сильнее овладевавшей им тревоги, что сейчас надо объясниться с Анной и... потерять ее.

– Здесь вся нечисть отходит, как вновь родишься, – тихо ответила Анна, – а мне нужно быть чистой, чистой... – Она умолкла, вплотную подойдя к Гирину и глядя ему в лицо широко открытыми глазами. Он не запомнил, сколько времени они смотрели друг на друга.

Птицы заливались в проснувшемся лесу, пологие лучи солнца проникли между красными стволами сосен, бугорки мха белели в россыпях ошетилившихся шишек. Вдали, еще робкая и вялая, зазвучала первая песня жнецов. Анна так долго разглядывала Гирина, что студент почувствовал неловкость. Он не умел и не хотел притворяться, но, боясь обидеть ее, попытался шуткой прикрыть свои чувства, вернее, отсутствие их.

– Сядем, – коротко бросила она, указывая на мшистый бугорок. – Скажи, я для тебя стара или порчена?

– Что ты, Анна, – искренне возмутился Гирин, – я... ты нравишься мне, но...

– Ладно, нечего говорить. Ты парень вовсе молодой, а я гулящая, – твердо и горько сказала Анна.

Гирин промолчал, кляня себя за неумение объяснить ей, что дело вовсе не в этом. Просто он любит другую.

Анна лежала, закинув руки за голову, и о чем-то напряженно думала, следя за облаками в ярко-голубом небе. Отчаявшись наладить разговор, Гирин стал уговаривать Анну петь. Девушка села, по-прежнему обратив взор в небо, и, следя за покачивавшимися верхушками высоких сосен, запела старинную и печальную песню:

Выше, выше, смолистые сосны, вырастайте в сиянии дня,
Только цепи мои неизносные скиньте, сбросьте, не мучьте меня!

И прежняя тоска в ее голосе напомнила Гирину встречу на пароме и «Лучинушку». Гирин слушал задушевное пение Анны, уйдя в свои мысли.

Он очнулся, когда Анна разразилась отчаянными рыданиями. Гирину не пришлось утешать ее. Девушка вскочила, обдернула юбку, и они молча пошли домой по полевой дороге вдоль лесной опушки. Гирин украдкой наблюдал за гордой походкой Анны. Еще не вполне обсохшая кофта туго облегла ее, и девушка шла выпрямившись, стройная как сосенка, высоко подняв голову. Грудь полностью обрисовывалась под тонкой тканью, как бы устремляясь вперед в гордом порыве. Гирин смотрел на девушку и думал, как красива такая свободная походка, когда гордая юность не стыдится своего цветущего тела и ничего не прячет, ничто не считает постыдным. Наверное, от монголов-завоевателей пришла к нам эта нездоровая стыдливость, когда женщина уродливо сгибает плечи и старается спрятать грудь. А может быть, стыдливость эта была необходимостью во время татарского ига, когда прекрасные девушки портили свою красоту, выходя из дому, чтобы не попасть в наложницы победителям. Ведь немного больше века тому назад по всей России для женщины считалось неприличным показывать волосы из-под головного убора или платка. Еще одно природное украшение женщины кто-то сделал постыдным. Продолжают бытовать слова, хотя мы уже не понимаем их значения, вроде «опростоволосилась».

Гирин еще раз оглядел задумчивую Анну, шедшую рядом, и тоже почувствовал гордость за нее.

– Эй, военный, возьми Нюшку за титьки, чего зеваешь! – раздался зычный окрик с поля, где работал здоровенный парень.

Гирин вздрогнул, очнувшись от дум, и спросил у Анны, что кричит парень.

– Да так, глупости разные, – ответила девушка, краснея и опуская взгляд, а вместе с ним и плечи, мгновенно превращаясь в стыдящуюся своей красоты жительницу старой деревни...

...Пронзительный вой сирены разнесся по бульвару, и Гирин мгновенно вернулся к настоящему. «Скорая помощь» пронеслась по направлению к Белорусскому вокзалу, спасая чью-то жизнь. И не было больше ни студента Гирина, ни знойного волжского лета, ни голосистой и печальной Анны. Многоопытный врач-ученый медленно поднялся со скамьи и зашагал к остановке троллейбуса. Что же, превосходная память не утратила ничего из случившегося на Волге много лет назад. Тогда, провозжая его на пароход, девушка сказала, что поставила себе целью стать образованной, как он. И Анна сдержала свое обещание. Начав учиться в Ленинграде, она потом перебралась в Москву, сделала хорошей, хотя и не знаменитой, певицей, исполнительницей народных песен.

Анна увлекалась живописью и скульптурой, познакомилась с его другом Прониным – пожалуй, единственным в те времена скульптором обнаженного тела. Они стали друзьями, а потом мужем и женой. Последние годы перед войной Гирин, занятый своими исследованиями, редко бывал в Москве и как-то потерял Анну из виду, а в один из недобрых дней узнал от общих знакомых, что Анна пошла добровольцем и погибла под Москвой. И уже в самом конце войны Гирин получил письмо от Пронина, лежавшего в госпитале с тяжелым ранением. Скульптор знал, что умирает, и просил Гирина в память давней дружбы разыскать и сохранить последнее его творение – незаконченную статую Анны. Он запер ее в мастерской, уезжая на фронт через несколько дней после отъезда жены. Друг умер, и Гирин только теперь смог исполнить его последнюю просьбу.

Как ни быстро пронеслось его первое лето самостоятельных исследований, все, что случилось тогда, на всю жизнь определило его путь ученого-врача и его интересы, всю его многогранную последующую деятельность. Наверное, потому так живо стоят перед ним воспоминания каждого дня того года, которые, точно накрепко обитые столбы, создали основу его восприятия жизни.

Удивительное излечение матери Анны навсегда убедило Гирина в том, что психика в организме человека, и здорового и больного, играет куда более важную роль, чем это думали его, Гирина, учителя. Отсюда родилось убеждение, что человеческий организм является настолько сложной биологической машиной, что прежняя медицинская анатомия и физиология, в сущности, едва намечали грубые очертания этого невероятно сложного устройства. Еще не дождавшись анализов собранной им коллекции воды и почв, он уже сам для себя отверг предполагаемое влияние редких элементов на возникновение болезни Кашин-Бека. Если это влияние в какой-то мере существовало, то оно должно было служить лишь косвенной причиной запутанного процесса, вскрыть который методами науки того времени не представлялось возможным. Гирин оказался прав – профессор Медников не смог установить причины болезни.

Встреча с Анной породила в нем особенное внимание к красоте человека и жажду добиться научного понимания законов прекрасного, хотя бы того, что выражено в человеческом теле. И еще более важным стало стремление понять законы, по каким древние инстинкты, с одной стороны, и общественные предрассудки – с другой, преломляясь в психике, влияют на физиологию. Из всего этого оформилось ясное представление о необходимости психофизиологии, как серьезной науки именно для человека – мыслящего существа, у которого вся медицина до той поры существенно не отличалась от ветеринарии, то есть медицины для животных.

Глава 2

Узкая щель

Гирин поднес руку к лацкану пиджака, где должен был быть карман кителя, спохватился и вынул пачку документов из внутреннего кармана. Профессор Рябушкин небрежно перелистал справки и удостоверения.

– Я все это знаю, но почему же институт Тимукова отказался от вас? Правда, вы за войну не выросли как ученый.

– Я изменил специальность и стал хирургом. Думаю... – Гирин хотел было объяснить истинное положение вещей, но сдержался.

– Конечно, конечно, – спохватился Рябушкин, – все это послужило для вашей пользы, хорошо для экспериментальных работ, но до докторской диссертации вам куда как далеко!

– Я не претендую на какое-либо заведование и могу быть хоть младшим сотрудником.

– Отлично! – воскликнул с облегчением Рябушкин. – Тогда, значит, прямо в мою лабораторию. Проблема боли в физиологическом аспекте, а для вас – с психологическим уклоном.

И заместитель директора института принялся объяснять существо разрабатываемой им проблемы. Гирин хмурился и, воспользовавшись передышкой в речи профессора, сказал:

– Нет, мне это не подходит.

Рябушкин остановился, как осаженная на скаку лошадь.

– Позвольте узнать: почему?

– Мне кажется неприемлемым ваш подход к изучению проблемы. Болевая сыворотка – средство вызывать боль, вместо того чтобы бороться с ней.

– Да неужели вы не понимаете, что, узнав механизм появления и усиления боли, мы сможем действовать наверняка в борьбе с нею! – с раздражением воскликнул профессор. – Видно, что вы не диалектик.

– Диалектика – вещь сложная, – спокойно возразил Гирин. – Вот, например, может быть и такая диалектика: живем мы еще в далеко не устроенном мире, еще сильна всяческая дрянь, и ваша болевая сыворотка преотличнейшим образом может быть использована для неслыханных пыток. А что касается секретности, то вам, научному администратору, должно быть известно, что секреты в науке лишь отсрочка, тем более короткая, чем более общей проблемой вы занимаетесь. И все это на фоне успехов нашей анестезиологии выглядит неважно.

– Какую ерунду вы городите! – не сдержался профессор. – Так, по-вашему, некоторыми вещами нельзя и вовсе заниматься!

– Есть вещи, которыми нельзя заниматься, пока не будет лучше устроено общество на всей нашей планете, – подтвердил Гирин, – и ученым следует думать об этом. Меня тревожит, например, не слишком ли много кое-где развлекаются с энцефалографами и с лазерами.

– Ну и что?

– А то, что ряд американских физиологических лабораторий занят усиленным изучением прямого воздействия на определенные участки мозга. Вызывают ощущения страха или счастья, полного удовлетворения – эйфории. Пока у крыс и у кошек, но мостик-то ведь узок!

– Послушать вас, так я вредной вещью занят?

– Я думаю, что так.

– И вы не хотите работать в моей лаборатории именно по этой причине?

– Прежде всего по этой.

Профессор некоторое время собирался с мыслями и подавлял негодование.

– Вот какой вы! Но другой работы мы не найдем для вас в институте! Впрочем, нас недаром предупреждали... – Рябушкин умолк, спохватившись, но Гирин насторожился.

– Это о чем же предупреждали, можно узнать? О моем несговорчивом характере?

– Характер – пустяки! Есть кое-что похуже!

– Вот как? Тогда уж извольте сообщить, а то я все равно в партком пойду. Там добыюсь, в чем дело.

Рябушкин поморщился и нехотя начал, постепенно оживляясь:

– Есть такой за вами грешок, что там – целый грех, за это раньше даже врачебный диплом отнимали. Лечили вы одного больного якобы от рака, а на самом деле отравили анестезией, рака-то и не было, а вы такую дозу закатали, что больной умер. Оправдаться-то оправдались перед комиссией, а вот слава хвостом идет...

– Да, вы правы, хвостом! Вот эти хвосты и превращают людей, кто послабее, в пресмыкающихся с хвостом! – отвечал Гирин, вставая. Встал и Рябушкин, избегая смотреть ему в глаза.

– Приглашение, которое вам послали, мы аннулируем! – крикнул профессор вслед ушедшему.

– Я сам позабочусь. Прощайте. – И Гирин прямо от замдиректора института направился в министерство.

– Я вряд ли смогу вернуться, не игрушки – сорвали с дела, демобилизовали для научной работы. Но могу принять любое назначение – подальше, если уж не гожусь для Москвы, – говорил Гирин начальнику отдела кадров.

– Кто вам сказал, что не годитесь? Рябушкин?

– Не только. Разве не отделались от меня в тимуковском институте? Ну и Рябушкин – после отказа работать в его лаборатории.

– Да, да. Но это еще не последняя инстанция. Найдем для вас хорошее дело. Сейчас пригласим нашего консультанта, профессора Медведева – может быть, знаете?

– Слышал...

– Здравствуйтесь, доцент Гирин, – приветствовал его маленький подвижный профессор, по виду никак не соответствовавший своей фамилии.

– Какой же я доцент, никогда не преподавал, только в госпитале!

– Все равно, раз вы кандидат медицинских наук. Извините, я уж привык табель о рангах в науке свято соблюдать. Обижаются люди, ежели назовешь не так. Ну, не будем терять времени. Вы, как и я, невропатолог, а с вашими статьями по психофизиологии я знаком. Наверное, и сейчас о том же мечтаете?

– После войны еще больше. Но...

– Теперь не те времена.

– Как бы не так! Инерция велика. Вот и за мной хвост какой-то тянется, как сказал мне Рябушкин. Откуда он знает? Я, конечно, рассказывал о своей практике товарищам по работе. Видимо, кто-то нашел нужным написать вам сюда. Еще Лев Толстой упрекал русскую интеллигенцию в «неистребимой склонности писать доносы» – его собственная формулировка.

– Положим, вы это слишком! – в один голос воскликнули оба собеседника. – Ведь знать людей-то надо.

– Только по делам, а не по хвостам. Мы не крокодилы, у тех, наверное, в почете тот, у которого хвост длиннее. Разрешите мне рассказать вам одну короткую историю. Можно? – И на согласный кивок начальника кадров Гирин продолжал: – Вы знаете, что еще в прошлом столетии ученые-археологи в Египте раскапывали Тель-эль-Амарну – развалины столицы фараона Эхнатона. Особенного фараона, реформатора религии и общественной жизни. Нашли громадный архив папирусов или чего еще там, на чем писали в те времена, всего несколько тысяч документов, книг, записей – целую библиотеку дворца фараона. Ученые

набросились на нее, как коршуны, – библиотека за полторы тысячи лет до нашей эры, да еще в эпоху реформ! Нашелся ключ ко всей истории, науке, религии Древнего Египта. Кропотливая расшифровка иероглифов продолжалась до двадцатых годов нашего века. И что же? Никаких данных о науке, жизни, даже религии. Тысячи кляуз! Не ручаюсь, точно ли помню, но примерно так – шестьдесят процентов доносов, сорок процентов униженных просьб пожаловать, что тогда жаловали холоум, – землю, дачу, рабов, не знаю уж что. Это было три с половиной тысячи лет назад! А сейчас, да еще в первом социалистическом государстве мира, надо, чтобы даже памяти о таком не осталось. Прежде всего надо покончить с этим хвостом старого мира.

– Хорош! – кивнул на него Медведев. – Ежели всегда вы так задиристы с коллегами, то и неудивительно. Еще не то напишут!

– Важно не то, что напишут, важно, чтобы...

– Ладно, понятно. Но вы все-таки расскажите, что это был за случай.

Гирин начал без воодушевления:

– До войны, когда я работал в Вологодской областной больнице... – А в памяти уже возникли все подробности его неудачи.

...Побывав на консультации в районе, он на обратном пути заночевал в небольшой деревне на областном тракте. Около часу ночи его разбудили двое детей из соседней деревни, прибежавших сюда в надежде на помощь проезжающих.

– Отец заболел, слышь-ко, сильно-т как, муценье глядеть, – объясняла запыхавшаяся белобрысая девчонка, в то время как мальчик лет двенадцати, ее брат, исподлобья и с детской надеждой смотрел на сонного Гирина.

Из расспросов выяснилось, что вечером у отца на щеке вдруг появилось красное пятно, началась сильная боль, так что здоровый сорокалетний мужик иногда «криком кричал». А пятно стало красным как уголь, и смотреть на него было никак не возможно...

– Почему невозможно? – тщетно домогался Гирин, перебирая в памяти все, что он знал о нарывах, гангренах и прочих гнойных заболеваниях.

– Скорее, дяденька доктур, очень муцается он, – торопила девчонка, пока Гирин одевался и проверял свой медицинский чемоданчик, в котором возил все нужное для первой помощи.

И вдруг Гирина осенило – его отличная память не подвела и на этот раз.

– Слушай, – задержал он метнувшуюся было к двери девочку, – я знаю, почему невозможно смотреть на пятно. Только говори верно – пахнет?

– Ой, как пахнет-то – все внутри переворачивается!

«Так и есть, нома, или водяной рак, одно из заболеваний, с которым врач-неспециалист сталкивается раз в жизни, а то и совсем не встречается!» – соображал Гирин, спотыкаясь в темноте, стараясь не отстать от проворных ребят.

Нома – редкое заболевание гангренозного характера у детей и лишь в совершенно исключительных случаях у взрослых. Воспаление начинается на слизистой оболочке рта и быстро выходит наружу в виде небольшой опухоли ярко-красного цвета, от которой в разные стороны расползаются валикообразные отростки. Вдоль отростков живая ткань распадается в густую жидкость с невыносимо тяжелым запахом.

Буквально на глазах большой участок тела может распасться, обнажая кости. Нома сопровождается иногда ужасной болью, иногда, наоборот, протекает при пониженной чувствительности. Гирин силился воскресить в памяти случаи выздоровления от номы, но таких не было. Только при срочном вмешательстве хирурга, если нацело иссекался весь пораженный участок и еще большая область вокруг него, тогда страшный водяной рак оставлял свою жертву искалеченной, но живой.

И если его ждет действительно нома, то что он может сделать? В то время он не занимался хирургией, кроме несложных вскрытий нарывов, лечения переломов, извлечения заноз – всего того набора простых ран, с которым приходится иметь дело каждому врачу, подающему первую помощь. Скальпель, турникет, ножницы, пинцет – вот и весь набор в его чемоданчике.

В хорошей чистой избе его встретила насмерть перепуганная женщина. Сам хозяин метался на постели, издавая приглушенные стоны. Рубаха взмокла от пота, так же как и полотенце, брошенное на плечо и шею. Капли пота выступили и на лбу под спутавшимися и взмокшими волосами. Маленькие, глубоко запавшие глаза взглянули на Гирина с такой радостной верой, что тот постарался прикрыть смущение бодрыми словами: «Ну сейчас посмотрим».

Страшная вонь, не похожая на то, с чем ему приходилось встречаться прежде, ударила Гирина в нос. Он постарался сдержать тошноту и не дышать, но запыхавшемуся после быстрой ходьбы этот запах так и лез в ноздри. Да, все было так. Красная опухоль с короткими тупыми отростками находилась на левой щеке, снизу, почти у самого угла нижней челюсти, а самый большой отросток уже достиг края надключичной ямки, рассекая кожу неширокой бороздой, на дне которой смутно просвечивала кость. Достаточно было минутного осмотра, чтобы убедиться в том, что для иссечения номы требуется сложная операция, которую районный хирург, вероятно, проделает с уверенностью. Но пока больного доведут в больницу, опухоль сильно разрастется, и тогда понадобятся оборудование и персонал областной клиники. Пока доставят в клинику... Гирин оборвал сам себя, сочтя, что не имеет времени для бесполезных рассуждений. Чтобы спасти больного, надо было или немедленно доставить его в больницу, или... или замедлить развитие опухоли. Доставить немедля было нельзя, значит, оставалось одно – замедлить! Как? Если перерезать все ткани вокруг пораженного места? Но на какую глубину идут отростки? И какая гарантия, что они не перейдут через разрезы?

Гирин уселся на подставленный стул и задумался. Вся семья стояла по углам избы в молчаливом оцепенении, и даже хозяин перестал стонать, следя за врачом.

А тот, напрягая все душевные силы, пытался найти верное решение. Враг, с которым он столкнулся, был настолько страшен, что нельзя было допустить неточности решения. Сам не чувствуя большой уверенности, он потребовал горячей воды, чистую простыню, раскрыл чемодан и взял шприц – в заранее стерилизованной коробке. И в тот самый момент, когда он раскрыл коробку, его вдруг точно встряхнуло. А может, вместо рассечения тканей инъецировать их новокаином? Может быть, уместно что-то вроде новокаиновой блокады? Если нома – вирусное заболевание, то все равно воспаление не должно происходить без участия нервной регуляции! А если так – новокаин затормозит процесс настолько, чтобы успеть в операционную. Самое плохое – неизвестно, насколько глубоко проникает опухоль: ведь барьер из анестезированной ткани надо создать и под опухолью! Надо много анестетика – не беда, он взял целую коробку.

Медлительная неуверенность слетела с Гирина. Короткими повелительными фразами он начал отдавать распоряжения. Запрягать лошадь и ждать его с больным. Бежать на тракт и останавливать там первую проходящую машину чем угодно: мольбами, деньгами, угрозами – весь вопрос был в том, чтобы эта машина случилась теперь же, а не тогда, когда окончится действие лекарства. Уверенно он приступил к анестезии, шаг за шагом пропитывая ткани, вспоминая, чему учили Спасокукоцкий и Вишневский. Скоро бледное кольцо окружило опухоль онемелым, нечувствительным валиком. Больной перестал метаться, улыбнулся, попросил молока.

Все шло удачно – и машину остановили на тракте, и быстро привезли больного, и доехали до рассвета до больницы, и хирург готов был сделать иссечение, но... больной погиб от коллапса через каких-нибудь полчаса после приезда. Гирин так и не смог установить,

что именно случилось – была ли у больного аллергия к новокаину, или анестезированная область захватила аномально проходившую крупную веточку десятого нерва, или вообще он впрыснул количество анестетика, оказавшееся больному не под силу, хотя тот и выглядел крепким человеком. Но самое важное – опухоль не только не прогрессировала, а сократилась настолько, что хирург и главврач больницы отказались подтвердить диагноз номы! Получилась большая неприятность: как будто Гириин ошибся в диагнозе и отравил больного ненужно большим количеством новокаина, вдобавок впрыснутого неумело! Гириин сумел доказать свою правоту, представив анализ опухоли и разъяснив мероприятие, но все же сомнение оставалось и потащилось за ним, как пресловутый крокодилов хвост. И обвинявшие и оправдавшие его врачи еще не сталкивались с номой. Все рассуждения носили теоретический характер.

Оба министерских работника внимательно выслушали его рассказ и молча переглянулись. Скрывая улыбку, Медведев спросил:

– А правда, что вы еще студентом лечили кого-то с помощью «нагана»?

– Не «нагана», а с помощью Аствацатурова, – возразил горячо Гириин. – Видите, вам и это известно!

– Но вы ведь никогда и не скрывали?

– Нет, конечно. Только все это было так давно! – Никто не отозвался на вызов в тоне Гириина.

– Так, – произнес, помолчав, начальник отдела кадров. – Знания и способности у вас, видимо, большие, и вы нужны в исследовательских институтах, а вот... – говоривший умолк.

– Досказывайте, раз начали.

– Сами понимаете или позже поймете. Что вы скажете, профессор?

– Я полагаю – направить в ту физиологическую лабораторию, о которой я вам говорил. Пойдете младшим сотрудником в сравнительную физиологию зрения? – повернулся он к Гириину.

– Пойду... пока, – равнодушно согласился тот.

– Что значит «пока»?

– Пока не будет создана специальная психофизиологическая лаборатория, необходимость которой докажу и добьюсь организации!

– Ну вот и хорошо, – заключил начальник отдела кадров.

«Неудачно началось у меня в Москве, – раздумывал Гириин, оглядывая свою комнату с кое-какой приобретенной наспех мебелью. – Провалилось дело с работой в нужном мне институте. Безденежье не дает возможности реставрировать статую Анны и привезти ее на выставку. Художники сказали, что выставят, если я возьму на себя все расходы. И на том спасибо».

На другой день Гириин отправился в геологический институт, где работала едва ли не половина тех геологов, которым наша страна обязана рудами и нефтью, углем и алмазами, бокситами и цементом. Гириин шел по темным, заставленным шкафами коридорам, с волнением читая на дверях известные по газетам фамилии и негодуя на тесноту устарелого здания постройки тридцатых годов. Андреев встретил его в проходе разгороженного шкафами кабинета. Гириин подумал, что эта узкая щель никак не подходит человеку, вся жизнь которого прошла в просторах казахских степей, бесконечных болотах сибирской тайги, высях Алтая и Тянь-Шаня. Геолог, должно быть, прочел его мысли, потому что, слегка усмехнувшись, сказал:

– Это не беда, после тайги хорошо сидеть потеснее. Устанешь, знаете, когда полгода без стен – трудно сосредоточиться.

– Вы все тот же, – приветливо, но не принимая шуток, ответил Гириин. – Бывает ли у вас то, что вы назовете бедой?

Геолог заулыбался еще шире и вдруг сердито стукнул по столу.

– Как же нет беды? Беды нет только разве у полных идиотов. Есть такие – всем довольны... а вот у меня! – Андреев распахнул высокие створки простецкого фанерного шкафа, открыв две колонки некрашенных лотков.

В полутемной глубине замаячили угловатые куски горных пород. Даже на неопытный взгляд Гирина камни удивляли разнообразием: то угрюмым темно-серым, то теплым красным, желтым цветом, то сочетанием разнокалиберной пятнистости. Какие-то блески, серебристые и черные, огоньки маленьких кристаллов – зеленых, розовых, синеватых – слабо мерцали в кусках камня, как бы поддразнивая Гирина и укоряя в невежестве.

– Видите, все полно! – крикнул Андреев, и Гирин сразу понял, что геолог действительно говорит о самом наболевшем. – И здесь, и в коридоре, и на складе, паршивом складе тоже. А здесь каждый из этих, для вас простых, камней – редчайшая вещь. Вот эти, – Андреев рывком выдвинул тяжеленный лоток, – отбиты от скал в почти недоступном ущелье притока Индигирки. Мы, надрываясь, несли их в заплечных мешках, перегружали на оленей, мчали на плотах через бушующие пороги. А эти – с вершинного гребня... хм, одной громаднейшей горы – я и сам не знаю, как удалось спуститься с грузом образцов. А эти – чтобы добыть их, мы поднимали лошадей на веревках на отвесные кручи ригелей – перегоронок в ледниковых ущельях... Там, в левом шкафу, – мы вывезли их сквозь страшные пески из хребта, от которого четыреста километров до ближайшей воды... А вот там – из жарких болот Африки – первые, которых коснулась рука ученого, а не равнодушные пальцы белого проспектора, стремящегося лишь к обогащению!..

Гирин с уважением осматривал стойки с рядами одинаковых лотков.

– Неужели негде хранить? – спросил он. – Как же это?

– Негде! Когда-то, в первые пятилетки, нам отчаянно не хватало геологов. И мы посылали на ответственные работы студентешек со второго курса... а уж дипломники, те чуть ли не в начальниках групп ходили. Конечно, съемка получилась пестрая и коллекции были собраны разной ценности. С тех пор утвердился взгляд, что геологические коллекции хранить не следует – надо слишком много места, документировали карту, представили пробу – и долой. До сих пор не переломить заскорузлой косности. А по-моему, та сумма труда, которая затрачена на то, чтобы проникнуть в недоступные места, вынести оттуда эти камни, – уже сама по себе заслуживает сохранения. Мало ли что когда понадобится – ведь всех маршрутов и экспедиций не повторишь, – полстолетия пройдет, пока кто-нибудь опять явится на то же место! Так неужели нельзя построить – тьфу, дрянь! – большой каменный сарай с несколькими отопляемыми кабинетами и сделать для страны настоящее хранилище? При нашей теперешней технике – ерунда, дешевка, а какие ценности будут сохранены. Только построй с расчетом – с запасом места, иначе через пять лет повторится то же самое.

– Совершенно ясно! Одного не пойму: как же это не очевидно вашим большим деятелям? Ведь по современным масштабам вопрос в самом деле пустяковый!

– Верно, что пустяковый. Но его не возьмут отдельно, а вместе с целой кучей других – и выйдет, что еще не время, – пробурчал Андреев. – Беда в том, что академики наши давно перестали сами собирать коллекции в поле. Нас, старых геологов, дразнят суевериями, якобы мы в таежных путешествиях набрались первобытности от шаманов. Не выступаем в маршрут в понедельник, опасаемся зловещих мест и чересчур ценим собранные камни. Те, кто всю жизнь проводит в городах или курортах, всегда под защитой крыши, стен, света и тепла, даже не представляют, как необъятен ночной простор степи и тайги, как опасен каждый шаг в темных горах, как грозно режут волны во время бури в открытом море или когда река, стиснутая ущельями, бешено хлещет пенными струями о камни порогов. Кто знает опасности камнепада или морозной выюги, тот понимает, что даже самая хорошая выучка

и знание дела, самый широкий опыт не могут застраховать от непредвиденной катастрофы в океане громадного, еще мало познанного мира вокруг нас. Потому мы цепляемся за каждый вынесенный из маршрута образец, каждый набросок карты, а идиотская сарайная экономия отнимает от нас драгоценные документы труда и риска...

– Эге, я посмотрю, у каждого своя беда, даже у таких столпов науки, как вы!

– Жизнь, что поделаешь! – Геолог успокоился так же внезапно, как рассердился.

Гирин помолчал и тихо, точно самому себе, сказал:

– Завидую вашему характеру. Мы в психологии называем это хорошо сбалансированной личностью. Быстрое торможение и приход в норму.

– Должно быть, привычка к самым различным невзгодам, – ответил Андреев и почему-то вздохнул. – Если бы вы попутешествовали столько, сколько я, в первые годы Советской страны, в первые пятилетки, при еще мало развитом транспорте. Одному богу, да разве еще черту, известно, сколько томительных часов и дней я провалялся на почтовых и железнодорожных станциях, пристанях, аэродромах! Сколько убеждений, угроз, мольбы, чтобы своевременно отправить свою экспедицию, отослать груз, вывезти людей домой. Что перед этим таежные невзгоды – пустыки, в них зависишь от себя, своего здоровья, смекалки и крепости. А вот когда вы попадаете в зависимость от человека, да еще нередко плохого... – геолог поморщился, – черт его знает, случайность это или закономерность, что там, где надо иметь дело с людьми, с их нуждами и заботами, там попадают как раз дрянь людешки. А будь моя на то воля, подбирал бы совершенно особых людей, чтобы выслушивать человеческие нужды и просьбы в жилотделах, собесах и, уж конечно, для геологов – на транспорте. Да еще ставил бы над ними этакую независимую и вдумчивую инспекцию с беспощадными правами, вроде Рабкриня прежних лет!

– Вижу, что натерпелись! – рассмеялся Гирин, а геолог вспыхнул негодованием.

– Представьте на минуту – большая река в тайге. Пустынные берега в неглубоком восточносибирском снегу, ранние морозы крепчают по ночам, и река туманится паром, а по ней с громким шорохом ползет, теснится, а на быстринах мчится шуга. Со дня на день река станет – тогда всей экспедиции, только что выбравшейся из тайги, придется два месяца ждать санного пути по реке.

– Почему два месяца? Ведь вы сами сказали, что река вот-вот...

– А потому, что шиверы, перекаты и порожистые места много позже покроются льдом, по которому можно будет возить грузы. Другого пути нет, разве что оленьими нартами, но в охотничий сезон, наступающий для орохонов – оленных людей, не скоро соберешь такой караван, чтобы вывезти все: людей, грузы, имущество, коллекции – вот эти самые, которые негде хранить. Такая ситуация! Что получается, когда к поселку причаливает последний пароход? Всякий знает, что он последний, что переполнен до отказа, а люди рвутся, только бы попасть. Сибиряки-таежники – народ серьезный и здоровый, поэтому капитан ставит к трапу отборных матросов, человек по шесть. Парни могучие и прямо-таки озверелые от постоянных атак в каждом поселке, на каждой пристани. Какой тут выход?

– А он есть?

– Есть! Часть моих ребят-рабочих всегда остается в поселке – или чтобы идти в тайгу в обрат, или ждать санного пути, а пока поработать в жилухе. Вот эти ребята с добровольцами из местных жителей, кому поставлена соответствующая порция, нагло прут на трап и завязывают с матросами пустяковую, но упорную драку. На помощь сбегается вся команда с капитаном во главе, драка разрастается, подходят подкрепления из кандидатов в пассажиры. Вконец озлобившийся капитан приказывает отваливать, и, когда пароход уже ушел от поселка на середину реки, пробившись сквозь свежие забереги, обнаруживается на нем наша экспедиция.

– Это как же?

– А драка на что? Пока команда занята ею, мы с речного борта пристаем на лодке, в момент выбрасываем на пароход наш груз, укрываемся где-нибудь за трубой или за кучей палубного груза, а лодка быстренько уходит.

– Но что же капитан, когда вас обнаружат?

– Есть или был раньше неписанный закон, свято соблюдавшийся на всех таежных реках: сумел забраться на пароход – никто не смеет с него прогнать. Да оно и понятно! Высадить людей где-то на берегу среди тайги на застывающей реке – это подвергнуть их смертельной опасности. А возвращаться еще хуже: нельзя терять и часа – пароход может зазимовать. Так и получаются законы – из жизненной необходимости... – Геолог помолчал, взглянул на часы и спросил: – Так что у вас за дело?

– Оно небольшое: одолжите мне рублей триста, только вот что плохо, месяцев на пять.

– Ничуть не плохо! На сберкнижке есть, понадобятся не скоро. Все геологи покупки делают осенью, по возвращении из экспедиций – многолетняя привычка.

С молодости весной – пустой, а из тайги – с мощной. Как же быть? Самое лучшее – приходите сегодня вечером. Чаю выпьем, настоящего, крепкого. В Москве измельчал народ, даже геологи пьют пустяки какие-то вместо чая.

Гирину очень нравилась жена Андреева, Екатерина Алексеевна – совершенная противоположность мужу. Крепкий, невысокий, очень живой геолог и крупная, дородная, как боярыня, жена составляли отличную пару. Спокойная, чисто русская красота Екатерины Алексеевны, чуть медлительные, уверенные ее движения, пристальный и пронизательный взгляд ее светлых глаз, грудной глубокий голос – Гирин, шутя сам с собой, думал, что он влюбился бы в жену приятеля, не будь она так величественна. Он любил редкие посещения их заставленной книгами квартиры, уют и покой этого приспособленного для работы и отдыха дома. Стремительная, резкая речь Андреева выравнивалась неторопливым, едва заметно окающим говорком жены (родом из древнего Ростова Великого), когда она, с вечно дымящейся папиросой в тонких пальцах, успокаивала и смягчала юмором суровые или грубоватые слова геолога. Всегда мало евший Гирин уходил от четы Андреевых едва дыша – уму непостижимо, когда успевала очень занятая Екатерина Алексеевна (она была известной художницей) готовить столь вкусные яства и в таком невероятном количестве.

На этот раз Андрееву не пришлось «подкормить» Гирина – жена была в отъезде, а дочь Рита, студентка, «скакала где-то по чужим дворам», по выражению геолога. Однако темный как смола чай был заварен на славу.

– Ну, жду рассказа, – строго сказал Андреев, наливая по второй пиале из опалово-прозрачного фарфора, – лишь Андреевы ведали, какой страны и какого века.

– Рассказывать пока нечего, – неохотно откликнулся Гирин.

– Как так? – вскинулся геолог. – Если мой старый приятель, достигнувший определенных высот в своем врачебном положении, вдруг появляется в Москве, где у него ни кола ни двора, да еще бросается занимать деньги, не нужно быть мудрецом, чтобы понять серьезный поворот судьбы. Ясно как день – поворот этот связан с возвращением в сферы теоретической науки. И утверждаю: после разрыва с женой все еще ходит в холостяках – женатый человек не будет так «очертяголовничать». Он позаботится о твердом окладе, квартирке, перспективах. Что скажете о вашем новом роде занятий? Удалось ли вам организовать... как это, помните, что вы давно хотели, – физиологическую психологию?

– Как вы запомнили? Ведь я писал вам об этом десять лет назад.

– Запомнил, потому что интересно и еще потому, что писали с чувством обреченности. Я не в насмешку, так запомнилось, не смыслом, а ощущением. А сейчас вы снова приехали, чтобы добиваться уже здесь, в столице?

– На этот раз – да! Но обреченности нет, даже странно – почему? Ничего еще не сделал, скорее пока неудача, а уверенность есть.

– Я понимаю почему. То, что проницательные люди предчувствовали уже давно, это гигантское восхождение науки, ныне начинают понимать все!

– Вы правы! Каждому стало ясно, что наука поможет обеспечить будущее его детей, создаст все нужное для того, чтобы прокормить, одеть и предохранить от болезней всю массу растущего населения. Стало очевидно, что мы должны строить будущее по законам науки, иначе... – Гирин прервал себя выразительным жестом.

– Этот гимн науке был бы верен, если бы не было и другой ее стороны – термоядерных бомб, например. Однако и тут ее сила тоже ясна! Но я хотел сказать, что нет наук бесполезных, что существовавшее совсем недавно их деление безнадежно устарело. Даже самый прозорливый человек не сможет теперь разграничить исследование важное от неважного. Эта ваша психофизиология, казавшаяся до войны вам самому еще далекой от применения, теперь должна стать важнейшей отраслью биологии и медицины.

– Совершенно верно! Новая жизнь создает новые потребности, новые машины требуют новых людей, умеющих владеть своей психикой. Да и психику эту надо тренировать, укреплять, развивать. Но нам, материалистам, очевидно, что психика основана на физиологии, возникает и вырастает из нее, – следовательно, прежде всего нужно изучать их взаимосвязь, а она сложнее и устойчивее системы автоматизирования, то есть рефлексов. А мы, биологи, оказались беспомощны, не подготовлены к изучению работы мозга. Оперировали почти мистическими понятиями – разум, воля, эмоции. Пока физики и математики не показали, не ткнули носом в кибернетику. Тогда и стало ясным, с какой наисложнейшей постройкой нам приходится иметь дело. Но создать институт, посвященный психофизиологии, еще не догадались, а надо бы несколько таких научных центров.

– А все же я дам пинка вашей самомнительной науке, – усмехнулся Андреев. – По части зависимости от среды, связи с ней и значения всего этого для психологии и морали она все забыла!

– Верно! Лучше сказать – не дошла, – помрачнел Гирин. – Однако уже поздно. Мне всегда интересно с вами, и я забыл о времени. Еще чашку испить, и пора шагать. Теперь я с капиталом и завтра же приступлю к исполнению одного долга.

Глава 3

Тусклые стены

Гири́н вошел в длинный зал и огляделся. Да, вот в самом конце статуя Анны. Очищенная от многолетней пыли, с залеченными ранами-трещинами, заново отполированная и такая яркая на фоне тускло-серых стен. Только сейчас Гири́н понял цель Пронина, сделавшего статую больше естественных размеров. Отсюда, с расстояния в несколько десятков метров, статуя вызывала особое впечатление. Не монументального величия – нет, изображение Анны было выполнено совершенно другим способом. Незнакомый с техникой скульптуры, Гири́н мог назвать его для себя – живым. И в то же время размеры статуи как бы отделяли ее от обыденности, заставляли невольно сосредоточивать на ней внимание и воспринимать ее красоту.

Гири́н вздохнул, смутно поняв что-то. Будто бы Анна сказала ему: «Это не я, а другая, та, которой ты служишь и к которой стремишься всю жизнь. Но я помогла тебе понять ее, в этом я – она...»

Пришло редкое для пожилого человека и обычное для юноши ожидание чего-то неопределенного, но очень хорошего. Ожидание это часто прилетает с весенним ветром, запахом дыма в морозной ночи, манит лунными бликами на широкой реке, шелестит в жестких травах степей...

На выставке в утренний час было мало народу, Гири́н пошел через зал, прямо к кубическому пьедесталу статуи. Там стоял, опираясь рукой на угол подставки, слегка сторбленный человек в очках и пристально вглядывался в статую, порой так приближая лицо, что почти касался ее колен своим остреньким носом. Увидев подходившего Гири́на, человек явно обрадовался собеседнику.

– Видали? Какова работа? – торжествующе ткнул незнакомец в изгиб колена.

Гири́н, улыбаясь внутреннему ходу мыслей, согласился, что работа очень хорошая. Незнакомец оторвался от статуи, взглянул на Гири́на и презрительно фыркнул.

– Я не про всю скульптуру, а про то, как отделана поверхность. Смотрите. – И незнакомец коснулся полированного дерева с нежностью, будто лица любимого человека. – Проведите пальцем, и вы почувствуете, увидеть может лишь скульптор, что она не гладкая, на ней сотни крохотных бугорков и ямочек. А для вас это зрительное впечатление живого тела.

– Разве не в каждой скульптуре...

– Конечно, нет. Сейчас никто уж так не работает, это старомодный прием. – И незнакомец снова издал короткое фырканье.

– Почему?

– Тому причин немало! И главная в том, что выполнение скульптуры в таком античном стиле – это нещадный, долгий труд. И глаз нужен, как у орла, чтобы художник мог увидеть все эти мельчайшие подкожные мускулишки и западинки, которые вам и кажутся живым телом. А для этого надо натуру высшего класса, с таким вот живым телом и кожей.

Создать, проявить, собрать красоту человека – такую, чтоб она была реальной, живой, – это большой подвиг, тяжело. Проще дать общую форму, в ней подчеркнуть, выпятить какие-то отдельные черты, отражающие тему, – ну, гнев, порыв, усилие. Скульпторы идут на намеренное искажение тех или иных пропорций, чтобы тело приобрело выражение, а не красоту. А изображение прекрасного тела требует огромного вкуса, понимания, опыта и прежде всего мастерства. Оно практически недоступно ремесленничеству, и в этом главная причина его мнимой устарелости. Красота всесторонняя, с какой стороны, и с каким настроением, и кто угодно ни смотри, все будет ладно, вот это и есть прони́нская женщина.

Человек в очках, очевидно знаток искусства, говорил громко. Разговор привлек нескольких посетителей.

– Позвольте, гражданин, – обратился к знатоку скульптуры один из круга слушателей, – вы говорите про всестороннюю красоту. И статую эту берете примером, так я вас понял?

– Так!

– А по-моему, по-простому, не то что выставлять, делать такие статуи ни к чему.

Знаток скульптуры возрился на говорившего из-под очков и улыбнулся недоуменно и сконфуженно. Тот, упрямо наклонив голову, отчего собрались складки на плохо выбритом подбородке, встретил противника тяжелым взглядом глубоко запавших глаз.

– Дело ваше, – пожал плечами знаток. – К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела – это большая радость и духовное наслаждение.

– Знаем мы это духовное наслаждение! Только портить молодежь, развращать. Для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет оттого, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками.

На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гириин. Он-то знал подобных людей со скрыто-поврежденной психикой, агрессивный параноидальный тип.

– То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаюсь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни, какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили.

Нападавший побагровел и резко обернулся к Гириину, оттопыривая нижнюю губу.

– Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились?

– Не у цыганки, наука такая есть – психология. Можете прийти ко мне на прием, я объясню вам, откуда у вас такие дикие «художественные» вкусы. Держите их при себе! Помните, если вы, глядя на красоту нагой женщины, видите прежде всего «неприличные места» и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении. – Аудитория встретила реплику Гириина одобрительно.

– Так вы хотите сказать, что я скот? – И противник, еще более разъяренный, стал подступать к Гириину, угрожая «привлечь за оскорбление».

Гириин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходящей из соседнего зала. Небрежные жесты и нарочито спокойный осмотр выставленного выдавали профессионалов-художников, чье показное равнодушие прикрывало острую ревность и глубокий интерес знатоков.

– Не понимаю: зачем вдруг выставили прониинскую вещь? – громко спросила тонкая узколицая женщина, проходя мимо статуи Анны. – Некрасиво, старо, нет мысли, грубый примитив.

– Согласен с вами, не стоило выставлять, – ответил шедший позади полный, хорошо одетый человек, – что миновало, то миновало. Наше время должно жить находками красоты иного порядка.

Прислушиваясь к разговору и оглядывая зал, Гириин обратил внимание на среднего роста девушку, стоявшую под большим панно. Ее прямая и в то же время свободная, нескованная осанка говорила о долгой дружбе со спортом, гимнастикой или танцами. Простое голубое платье, туго стянутое черным пояском, не скрывало фигуры, столь соответствующей гириинскому понятию прекрасного, что у того перехватило дыхание. Ее необычайно большие серые глаза, казавшиеся темными от ярких, как у детей, белков, вдруг встретились со взглядом Гириина. Девушка чуть улыбнулась, встряхнула короткими черными воло-

сами. Гири́н почувствовал немое ободрение. И, повинувшись ему, существовавшему, наверное, только в воображении, Гири́н подошел к художникам.

– Я слышал ваши высказывания насчет скульптуры, – обратился Гири́н к полному, с сильной проседью художнику, показавшемуся главой этой группы. – Может быть, вы поясните мне, что вы понимаете под красотой? Ваша соратница по искусству, – Гири́н кивнул в сторону худенькой женщины, – заявила, что статуя некрасива, а мне она кажется очень красивой. Следовательно, я чего-то тут не понимаю?

Глава художников посмотрел на Гири́на со снисходительным сожалением.

– Надо различать красоту и красоту, – назидательно сказал он. – Красота – это то, что представляется красотой для людей обычных, с неразвитым вкусом, а красота... – Он многозначительно умолк.

– И все же?

– Как бы это яснее... – Несмотря на свой апломб, художник замялся. – Это... это отношение художника к жизни. Если оно светлое, с верой в счастье, с близостью к народу, к жизни, глубоко проникает в жизнь, то тогда получается красота.

– В произведениях художника?

– Безусловно!

– Я не про то спрашиваю. Есть ли в природе, вне художника, эта красота или красота – все равно, или она получается только путем создания ее художниками, что, по-моему, идеалистическая выдумка?

Художник покраснел. Привлеченные спором, посетители подошли поближе.

– Конечно, красота существует в мире. Но для ее понимания нужен развитый вкус, нужно чутье художника. И его долг выявлять и показывать ее людям.

– Вот наконец-то! Значит, красота существует помимо нас, в объективной реальности, как говорят философы. А если так, то какие критерии есть у вас для определения красоты?

– Я вас не понимаю, – пробормотал художник, более уже не смотревший на Гири́на с превосходством жреца искусства.

– Жаль. Тогда попробуем на примере. Вот ваш товарищ, художница... – Гири́н вопросительно посмотрел на суровую критиканшу.

– Товарищ Семибратова, она график. – Гири́н поклонился.

– Товарищ Семибратова сказала, что статуя некрасива. Почему? Объясните мне, каков ваш критерий для столь категорического суждения. Посмотрите, – он обвел рукой все возмраставшую группу слушателей, – здесь, мне кажется, большинство находит статую красивой.

Слушатели закивали одобрительно. Художница поджала тонкие губы.

– Мне трудно говорить с человеком, не знающим наших художественных понятий. Но попробую. Образ женщины, чистый и светлый, должен быть лишен подчеркнутых особенностей ее пола.

– Почему? Это же ее пол?

– Если вы будете меня перебивать, я ничего не скажу! Женщина в новой жизни будет похожей на мужчину, тонкой, стройной, как юноша, чтобы быть повсюду товарищем и спутником мужчины, чтобы выполнять любую работу. А тут, смотрите, широкие, массивные бедра. Чтобы соблюсти пропорциональность, ноги пришлось утолстить, сделать сильнее, икроножные мышцы и валики мускулов над коленями. Как много здесь животного, ненужной силы. Зачем это в век машин? И вдобавок не просто силы, а силы пола, эротической. Вот, пожалуй, все.

– М-м! Во всяком случае, теперь я понимаю ход ваших мыслей. – Гири́н посмотрел на художницу с уважением. – Могу я обобщить это так, что вы видите красоту такой, какой,

по-вашему, она должна быть? И не принимаете того, что не согласно с вашими представлениями?

– Пожалуй, так.

– Но ведь тогда получается снова, что красота – это нечто исходящее из вас самой, из ваших идей и мыслей о том, какими должны быть люди и вещи. Значит, мы опять приходим к тому, что красота не существует вне художника и не является, следовательно, объективной реальностью? Красота относительна, и задача художника открывать ее новые формы – это глубоко ошибочное суждение. Откуда же возьмет ее художник – из собственной души только? Открывать законы красоты во всем бесконечном многообразии вещей и людей – вот формулировка материалиста-диалектика. Можно сказать по-иному: искать то из существующей вне нас объективной реальности, что вызывает в человеке чувство прекрасного.

– Не пытайтесь поймать меня вашей казуистикой, – вдруг рассердилась Семибратова. – Ведь могла я выбрать такой тип красоты, какой мне нравится, какой я действительно встретила!

– У меня нет никакой казуистики. Я ничего почти не знаю, это уж вы, художники, виноваты: где книги, просвещающие нас, обычных людей, ваших зрителей? Но все же – вот вы встретили такой тип красоты, какой вам нравится, потому что соответствует вашим идеям. А я встретил такой, какой мне нравится, – вот этот. – Гирин показал на статую. – Есть ли все-таки объективный критерий, кто из нас прав? Что говорят по этому поводу художественные светила?

– Ничего не говорят! Ну, конечно, анатомическая правильность, есть такая старинная книга одного аббата, там он собрал все пропорции...

– И объясняет их или только приводит?

– Не объясняет!

– Ну тогда все ни к чему! Но вот вы верно сказали: анатомическая правильность. Но что это такое? Кто может сказать? – резко бросил Гирин молчавшим художникам. – Или это, по-вашему, только эмпирическое соотношение частей?

– Так, может, вы нам откроете сию тайну, – язвительно буркнул главный из художников, – раз уж вы такой знаток.

– Я не знаток, я просто врач, но я много думал над вопросами анатомии. Если упростить определение, которое на самом деле гораздо сложнее, как и вообще все в мире, то надо сказать прежде всего, что красота существует как объективная реальность, а не создается в мыслях и чувствах человека. Пора отрешиться от идеализма, скрытого и явного, в искусстве и его теории. Пора перевести понятия искусства на общедоступный язык знания и пользоваться научными определениями. Говоря этим общим языком, красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме. А восприятие красоты нельзя никак иначе себе представить, как инстинктивное. Иначе говоря, закрепившееся в подсознательной памяти человека благодаря миллиардам поколений с их бессознательным опытом и тысячам поколений – с опытом осознаваемым. Поэтому каждая красивая линия, форма, сочетание – это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы лет естественного отбора или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть наиболее правильного для данной вещи. Красота и есть та выравнивающая хаос общая закономерность, великая середина в целесообразной универсальности, всесторонне привлекательная, как статуя.

Нетрудно, зная материалистическую диалектику, увидеть, что красота – это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и называли аристон –

наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее – чувство меры. Я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким – лезвием бритвы, потому что найти ее, осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, почти не видимому из-за чрезвычайной остроты. Но это уже другой вопрос. Главное, что я хотел сказать, это то, что существует объективная реальность, воспринимаемая нами как безусловная красота. Воспринимаемая каждым, без различия пола, возраста и профессии, образовательного ценза и тому подобных условных делений людей. Есть и другая красота – это уже личные вкусы каждого. Мне кажется, что вы, художники, больше всего надеетесь именно на эту красоту второго рода, пытаясь выдавать ее, вольно или невольно, за ту подлинную красоту, которая, собственно, и должна быть целью настоящего художника. Тот, кто владеет ею, становится классиком, гением или как там еще зовут подобных людей. Он близок и понятен всем и каждому, он действительно является собирателем красоты, исполняя самую великую задачу человечества после того, как оно накормлено, одето и вылечено... даже и наравне с этими первыми задачами! Тайна красоты лежит в самой глубине нашего существа, и потому для ее разгадки нужна биологическая основа психологии – психофизиология.

Художники смотрели с удивлением на неожиданного оратора.

– Значит, вы считаете, – заговорила Семибратова, – что эта скульптура...

– Есть красота первого рода – безусловная, – подтвердил Гириин.

Художница пожалала плечами и оглянулась на собратьев. Полный седоватый художник сделал шаг к Гириину и протянул руку. Тот назвал себя.

– Рад познакомиться! Мне кажется, вы заинтересовали нас. Конечно, не ждите, что мы сразу с вами согласимся, а все же интересно. Слушайте, – вдруг оживился он, – не могли бы вы сделать нам доклад на эту тему, видно, что вы размышляли о таких вещах, о каких естественники обычно не думают. Ну, скажем, так: «Красота как биологическая целесообразность»? Насколько я понял, вы собираетесь расшифровать ее так?

Гириин думал недолго.

– Почему бы нет? Назначайте время и место. По четным дням я могу с утра до трех часов, а в нечетные – только вечером.

Они сговорились о встрече в одном из залов Дома художников.

Стоявшие вокруг посетители зашумели, прося разрешения прослушать завершение интересной дискуссии. На их счастье, седоватый художник оказался одним из членов совета дома и пригласил всех на будущий доклад.

Гириин попрощался с недавними врагами и стал искать глазами девушку в голубом. Он увидел ее на том же месте под панно и направился к ней, внутренне опасаясь, что она скроется в соседнем зале. Девушка шагнула ему навстречу. Гириин улыбнулся ей, но ее лицо осталось серьезным.

– Я оправдал ваши надежды? – полушутливо спросил Гириин.

– Они не имеют значения. Но я очень, очень рада. Знаете, как хорошо бывает, когда думаешь и чувствуешь и не у кого спросить, а вдруг все оказывается верным. И от этого все становится светлее и ближе!

– Хорошо знаю! – воскликнул Гириин.

– Я приду на ваш доклад, – произнесла она тоном полувопроса, полуутверждения.

– Обязательно приходите! Но давайте сначала познакомимся. – Гириин назвал ее и выжидательно взглянул на девушку.

– Меня зовут Сима... Серафима Юрьевна Металина, если хотите полное звание. Я преподаватель физкультуры, ну и сама занимаюсь спортом. Только и всего. Никакого отношения к искусству.

– Может быть, и хорошо. Иногда трудно иметь дело с профессионалами. Слишком много предвзятого... Но вы хотите что-то еще сказать?

– Мне надо бы еще спросить вас, но вы, должно быть, торопитесь? Да и мне скоро на вечерние занятия.

– Так пойдете. Я провожу вас, если разрешите.

В гардеробе Гириной еще раз с нескрываемым удовольствием поглядел на девушку, когда она отошла к зеркалу, чтобы поправить волосы. Как быстро она успела это сделать: два движения гребнем, легкое прикосновение пальцев, и какие-то незримые для Гириной дефекты были устранены.

Давно не испытанная отрада холодком прошла по его спине. Плавные и в то же время быстрые движения Сима, ее гордая осанка и открытый внимательный и веселый взгляд – казалось, девушка эта явилась из будущего. Действительно, Сима не стеснялась и не прятала свою высокую грудь, стройные ноги и крутые бедра. В свободных и гибких движениях ее сильное тело приобретало ту независимость, без которой подчас трудно живется женщинам. Физическая красота девушки сливалась с ее душевной сущностью, растворялась в ней, странным образом теряя свой вызывающий оттенок.

Сима надела пальто и берет, придавший ей мальчишески независимый вид. Гириной сразу оценил преимущества лица Сима. К такой головке средиземноморского типа, с мелкими, твердыми чертами, большеглазой из-за правильности профиля, гордой шеи и высоко поставленных ушей, с большим расстоянием от них до глаз, пойдет решительно все – любая прическа, любая шляпка, чем и пользуются, например, итальянки... Они вышли во всегдашнюю людскую толчею Кузнецкого Моста.

Налетевшие порывы ветра разъединяли их, и беседа не клеилась. Чтобы быть поближе к девушке, Гириной взял ее под руку. Сима легко приноровилась к его походке и пошла танцующим широким шагом, с упругим и четким ритмом. Гириной невольно захотелось тоже войти в музыку этой походки-танца. Он зашагал, стараясь ставить и поворачивать на ходу ступню так, как это делала Сима, оступился и засмеялся. В ответ на ее безмолвный вопрос Гириной признался в своем смешном поступке. Сима чуть покраснела, нахмурилась и, к огорчению Гириной, пошла обычной мелкой походкой, какой женщины ходят на каблучках. Только сейчас Гириной заметил, что ее маленькие туфли – с высокими «гвоздиками» и, следовательно, она несколько меньше ростом, чем он думал. Девушка, помолчав, сказала:

– Я всегда так хожу, когда случается радость. Только что смешного в этом?

Гириной поспешил уверить Симу, что ему показался смешным он сам. Она возразила:

– Хоть бы и вы сами? Разве не бывало с вами так, что все тело поет? Тогда невольно идешь, будто танцуешь.

– А вы любите танцевать? – уклонился Гириной от прямого ответа.

– Очень. А вы?

– Ну какой из меня танцор! Даже смолоду. От предков и родителей костяк мне достался тяжелый. Было на что опираться могучей силе русского землепашца. А у меня пропадает зря, и не могу порхать в танце.

Сима звонко расхохоталась, откидывая назад голову. Тренированный глаз анатома отметил абсолютную правильность ее зубов, дужки которых были словно вычерчены циркулем.

– Такое категорическое отрицание? Бойтесь, что рок-н-ролл приглашу танцевать?

– А вы разве умеете?

– О каком в газетах пишут, с нарочитым выламыванием, нет. Но можно и рок, и все, что угодно, станцевать красиво. Иногда так и потянет на головоломную штуку, если партнер хорош, и разойдешься, как ветром понесет сердце и ноги.

Гириной слегка уязвили слова «когда партнер хорош», он-то никак не мог считать себя «хорошим партнером».

– Это хорошо: ветром понесет сердце и ноги! И верно!

– Ага, вы доктор и считаете, что верно!

– Не доктор, а врач. Доктор – это тот, кто имеет степень доктора медицины. По старинке врачей зовут докторами, когда заболевают, из заискивания, перешедшего в обычай.

Сима снова засмеялась. «Как веселый заяц в фильме «Бэмби», – подумал Гири́н.

– Человеку нужно чередовать периоды покоя или неподвижности с энергичным движением, и танцы в ритме музыки имеют очень серьезную физиологическую основу, – продолжал Гири́н, – это потребность, а не прихоть. Людей, не занятых физической работой, привлекают танцы наиболее неистовые, а тяжело работающих – плавные. Распространение разных рок-н-роллов, мамбо и твистов в Европе – это закономерность, результат роста городского населения и числа молодежи, не занятой активным физическим трудом. Эти танцы – явление почти социальное. Впрочем, ничего плохого в акробатическом танце не было бы, если избегать гнусного кривлянья. Вообще-то куда как лучше для молодежи гимнастика, особенно художественная для девушек: какая красота!

Сима улыбнулась, вся засветившись.

– А вы молодец. Можно вас так назвать? И я рада, что познакомилась с вами. Мне казалось, что так и не бывает: я чувствую, а вы говорите про это, да еще так просто и ясно! И вообще...

– И вообще?... – переспросил Гири́н.

– Вообще с вами просто. И хорошо. А то чаще бывает... – Сима умолкла, смотря перед собой, и только тонкие морщинки в уголках ее изогнутых губ выдавали память горьких минут.

Гири́н осторожно сжал двумя пальцами ее тонкое запястье.

– Все понимаю. Но как быть? Живешь среди людей, таких разных и по большей части худо воспитанных.

– О да! Вы даже не подозреваете, наверное, как много людей, мужчин, считают, что достаточно нескольких нежных глупостей, чтобы покорить незнакомую девушку, только что встреченную на улице. Иногда так устаешь от этого, особенно летом, когда ходишь...

– Легко одетая, это ясно. И от себя добавлю: есть немало людей, у которых красота вызывает неосознанную злобу, те стремятся оскорбить и унижить красивую девушку, бросить вслед грубое слово.

– Как вы все это знаете? Вы ведь не женщина.

– Зато психиатрия – одна из моих любимых наук. Я как-нибудь расскажу вам о том, что руководит поступками людей, есть объяснение почти для всего. Все закономерно.

– Я буду вам так благодарна! Но вот я и пришла. Большое вам спасибо. И до встречи у художников.

– Одну минуту! – Гири́н вырвал листок из записной книжки, написал свой телефон и протянул девушке. – Мало ли, вдруг случится надобность. С врачом, тем более с хирургом, знакомство полезно.

Сима взглянула на него искоса и лукаво своими громадными серыми глазами.

– А почему вы не спрашиваете моего телефона или адреса?

– Чтобы вы были свободны – от меня. Захотите – позвоните мне сами, нет так нет. А то я могу не угадать и оказаться навязчивым.

– А не чересчур ли вы скромны, проницательный психиатр? – И она вдруг коснулась его виска теплой ладонью.

Ласка была так мгновенна, что Гири́н потом спрашивал себя: не показалось ли ему? Сима повернулась и исчезла между неуклюжих бетонных колонн за воротами школьного сада. Гири́н постоял, глядя в пространство с ясным ощущением драгоценной неповторимости случившегося. Его буйная фантазия представила судьбу в виде улыбчивой греческой богини, благосклонно кивнувшей ему из глубины триумфальной арки, в какую превратились

железные стандартные ворота. Гирин усмехнулся и пошел прочь. Неисправим! Сколько раз та же судьба представлялась ему лесом мрачных тяжелых колонн, между которыми витала тьма, сгущавшаяся в непроницаемый мрак! Эти давящие колонны в беспросветной темноте всегда служили для Гирина образом, отражавшим его собственные неудачные поиски, подобные блужданию между каменными столбами. Но как мало надо человеку со здоровой психикой и телом: чуть повеяло ветром надежды на хорошее, едва соприкоснулся с прекрасным – и возрождается неумная сила искания и творчества, желание делать что-то хорошее и полезное, оказывать людям помощь. Вот в чем величайшая сила красоты. «Красавица – это меч, разрубающий жизнь», – гласит древняя японская поговорка. Ей вторит среднеазиатская загадка: «Что заставляет злого быть самым злым, доброго – самым добрым, смелого – самым смелым?» И ответ ее прост: «Красота!» Понимание этого мы порядком утратили – в нашем разобщении с природой.

– Хватит на сегодня! – Гирин выключил энцефалограф. Широкая лента миллиметровой бумаги, ползшая по столбу прибора, замерла. Перья, вычерчивавшие ряды угловатых записей биотоков от разных участков мозга, прекратили свои колебания. Лаборантка Вера нажала массивный рычаг и отворила толстую дверь камеры, изолированной от света, звука, электрических колебаний и магнитных влияний, зачерненной и заземленной. В глубоком кресле сидел студент-доброволец, подвергавшийся опыту. Лаборантка расстегнула пряжку тугой резиновой ленты, которая удерживала на голове испытуемого сетку с двадцатью электродами, посылавшими пучок разноцветных проводов через стену камеры в огромный энцефалограф – прибор, записывающий биотоки мозга. Студент почесал раздраженную электродами голову, пригладил волосы и весело вскочил с кресла. Извинившись, он сладко потянулся.

– Ура! Закончили. Признаться, надоело! Какой сегодня опыт по счету, Верочка?

– Пятьсот семьдесят четвертый, – отозвалась лаборантка.

– И сколько будет еще, Иван Родионович?

– Наверное, до семисот. Как скажет профессор.

– Признайтесь: вам не осточертело это топтание на месте?

– Почему топтание? Даже в отрицательных данных, которые получаются у нас, есть смысл.

– Так-то так, – уныло согласился студент. – А все же хотелось бы чего-то потрясающего, совсем нового. И скорого. Ведь столько в нашей науке возможностей, непроторенных путей. И вы, я вижу, знаете много такого, о чем мы даже не получили представления на биофаке. А должны выполнять скучную, бескрылую работу, ведь старик наш весь в прошлом!

– Разве я не говорил вам, что в науке могут быть два пути – путь смелых бросков, догадок, с отступлениями, провалами и разочарованиями и путь медленного продвижения, когда постепенно нащупывается истина. И оба полезны, и один не может обойтись без другого. Без таких вот тяжеловозов науки, тянущих громадный воз точных фактов, как наш профессор. Уважайте их, Сережа, это прочные опорные камни!

– Так-то так, – буркнул студент.

В углу лаборатории зазвонил телефон, и лаборантка подала трубку Гирину.

– Иван Родионович, дорогой, как хорошо, что я вас застал, – услышал он громкий голос Андреева. – Вы мне очень нужны. Помогите. Может, приехали бы, а? Катя еще не вернулась, но я чаем уважу... Поговорить надо одному товарищу (он назвал имя известного геофизика) с умным врачом. Неофициально, так сказать, без профессиональной церемонии, как ученому с ученым. А?

Гирину не хотелось ехать после одиннадцати часов работы, но он не мог отказать Андрееву.

И, сидя в знакомом глубоком кресле у курительного столика кашмирской работы, он выслушал трагическую повесть о нелепой судьбе сына геофизика. Не было более талантливого математика на всех курсах инженерно-физического института. И вдруг красивый и здоровый юноша, способный музыкант, шахматист, заболел. Вялость, быстрая утомляемость и боли в правом боку быстро сменились расстройством походки, плохой координацией движений рук, сильными головными болями. Долго искали причину, юноша перекочевал уже в третью больницу, и ему становилось только хуже. Но теперь...

– Погодите минуту. Кажется, я догадываюсь. Наследственный сифилис исключен был сразу? И мозговая опухоль тоже? – Профессор геофизики молча кивнул.

– Тогда, значит, нашелся умный врач и велел сделать анализ мочи на металлические соединения и обнаружил...

– Да, да, конечно, медь!

– Следовательно, вильсонова болезнь. – Настроение Гирина заметно упало.

Геофизик встал, прошелся по комнате и вдруг решительно подошел к Гирину. Тот понял, что сейчас последует именно тот вопрос, ради которого просили его приехать.

– Болезнь Вильсона – отчего она бывает? Только от дурной наследственности?

– Только наследственность тому виной. Но вы информированы неправильно. Это не дурная наследственность, а случайность наследственности.

– Разве это не одно и то же?

– Разница фундаментальная! Дурной наследственностью можно назвать повреждение наследственных механизмов какой-либо болезнью. В результате ряд дефектов, преимущественно в нервной системе, как, например, маниакально-депрессивный наследственный психоз, амауротический и монголизмический идиотизм, или же в крови, как талассемия. А есть болезни, которые обязаны случайному разнообразию во всей чудовищной сложности развития нового организма. Это не болезни родителей или каких-либо предков, не сочетание их поврежденных наследственных устройств, а неудачная комбинация. Ведь и совершенно здоровая наследственность дает естественные колебания в биохимическом отношении. Мы еще только начинаем нащупывать эти различия. Например, часть людей не ощущает никакого особенного вкуса в препарате, называемом фенилтиоурен, а другая часть чувствует его нестерпимо горьким. Какие-то одна-две молекулы не сойдутся точно в развитии спиральных цепочек наследственных механизмов, и в новорожденном организме выпадает крохотная, нами пока не улавливаемая деталь. Отсутствие этой детали может проявиться не сразу, ребенок вырастает вполне нормальным, и вдруг...

– Да, вдруг, – выкрикнул геофизик, – такой страшный удар! Такой удар!

Чувствительный Андреев поспешно отвернулся, хватаясь за папиросу. Гирин продолжал, не меняя тона:

– А может, и сразу. Встречается появляющийся у новорожденных молочный диабет – тоже болезнь обмена веществ, когда организм не усваивает молочный сахар, и тот отравляет ребенка. В этих случаях материнское молоко смертельно! Но это излечимо, если своевременно разобраться. Неизлечима черная моча – алькаптонурия: организм не может переработать некоторые вещества обмена. Есть случаи, когда печень ребенка не может превращать одну из аминокислот – фениланин – в другую – тирозин. Содержание первой в крови ненормально повышается, и ребенок делается психически дефективным, как – этого мы еще в деталях не знаем. Важно, что ничтожнейший, образно говоря, на одну миллионную толщины волоса, сдвиг от нормы в чрезвычайно тонком и сложном процессе обмена веществ ведет к далеко идущим последствиям. Только недавно мы стали представлять себе всю сложность биохимических процессов в нашем организме, а следовательно, и сложность передачи – этих процессов по наследству. И, конечно, редкие случайности вполне возможны; самое удивительное, что они так редки. Впрочем, простите, вам от этого не легче!

– Нет, гораздо легче! Вы не представляете, какую тяжесть снимаете с меня и моей жены. Она в отчаянии от сознания вины перед нашим мальчиком. Умоляю вас, Иван Родионович, объясните все это Наташе, моей жене. Я позвоню ей, она сейчас придет. Вы не представляете, как это важно и как поддержит ее, раненную прямо насмерть.

Что оставалось делать Гирину? Через двадцать минут он возобновил свои объяснения, а не старая еще женщина с измученным лицом слушала его, как если бы некий пророк передавал ей откровение свыше. Объясняя, Гирин думал о том, как необходимо и благотворно непрерывное разъяснение гигантских достижений современной науки. Без насмешки над собой он понял, что превращается в проповедника, занимающегося передачей научных знаний самым различным, нередко первым встречным людям и что, собственно, первые ученые и были именно такими проповедниками. Самое слово «профессор» означает по-латыни «проповедник», или «провозвестник», подчеркивая важнейшую роль популяризации в деятельности людей науки. Было бы замечательно, если бы люди выдающегося ораторского таланта читали лекции о достижениях науки, как о достижениях искусства, просто и широко говоря о необъятных перспективах, все шире открывающихся перед современным человеком. Талантливых лекторов в науке мало, но зато каждый из них ведет в науку многих будущих больших ученых. Насколько было бы полезнее, если бы, например, церковные пастыри, среди которых встречаются отличные ораторы, проповедовали бы науку вместо тех миллионов религиозных внушений, какие ежедневно звучат во всех церквях мира!

Гирин убедил исстрадавшуюся мать в ее полной невиновности в ужасной судьбе сына. Он рассказывал, какие сложные химические системы раскрываются в жизнедеятельности человеческого организма, как мало нужно для того, чтобы организму был нанесен сокрушительный ущерб. Жизнь протекает в напряженной борьбе противоречивых химических процессов, и наше существование зависит от точнейшей регулировки, которая все время ведется в организме тремя системами. Самая древняя, унаследованная от первичных живых существ, – это химическая регулировка путем особых веществ – катализаторов и ускорителей химических процессов. Эти так называемые ферменты, или энзимы и гормоны, тысячи их, взаимодействующие с другими тысячами, связаны в единую стройную систему, ведающую превращениями пищи в энергию, созданием новых клеток тела, перестройкой ядовитых отходов в безвредные и легко удалимые из тела. Энзимы – ключ к болезням, особенно наследственным. Вторая система – автоматическая, или симпатическая нервная, независимая от сознания и воли. Третья – собственно нервная система, действующая по принципу импульсной регулировки, в работе которой принимает участие наше сознание.

Такая трехслойная система регулировки обеспечивает нам жизнь и устойчивость даже в самых неблагоприятных условиях. И в то же время наш организм как биологическая машина работает в очень узких пределах, и всю жизнь мы как бы балансируем на лезвии бритвы. Чуть больше сахара в крови – потеря сознания и, если положение не будет исправлено, смерть, чуть меньше – потеря сознания, коллапс и смерть. Общеизвестные тепловые удары лишь не так давно получили свое объяснение – это падение (разумеется, ничтожное) содержания соли в крови, потому что при жаре с потом уходит из организма много соли. Простое предупреждение тепловых ударов – дача соли перед тяжелой работой или походом в жару – теперь широко применяется повсюду.

В изменчивых обстоятельствах наша жизнь все время качается на грани смерти, и все же мы живем, делаем гигантские дела, совершаем невероятные подвиги, чудеса физической стойкости и горы умственной работы – вот как хорошо регулируется и сведена в единство вся многообразная сумма процессов жизнедеятельности. Не мудрено, что для воспроизведения нового организма, для передачи по наследству не только сложнейших структур, но и инстинктов, требуются колоссальной сложности наследственные механизмы. В двух

родительских клетках – крохотных, видимых лишь под микроскопом, – находятся двойные спирали-цепочки молекул, заключающих всю информацию и всю программу, по которой будет заново создан человек. Не мудрено, что малейшие, неизмеримые для нашей современной техники неточности в соединении молекул обязательно выразятся неточностями в организме.

– Так случилось и с вашим мальчиком, – продолжал Гирин. – Мы еще не можем сказать точно, почему это так, но знаем, что у больного в крови малая концентрация церулоплазмина – содержащих медь белковых молекул. В крови мало меди, а в то же время значительное количество ее находится в моче, – следовательно, не удерживается в организме, выбрасывается. Мало и много – это понятия относительные, на самом деле они выражаются тысячными долями грамма. И вот эта нехватка меди медленно, но верно ведет к перерождению печени и мозжечка... Мы не знаем – как, от нас скрыта еще одна или больше стадий сложных химических превращений.

Едва успел Гирин кончить свою «проповедь», как мать задала ему неизбежный вопрос: можно ли было бы спасти больного, если бы давали ему медь в какой бы то ни было форме?

– Нет, – ответил Гирин. – Ведь те тысячные грамма, которые были нужны для нормальной жизни, он получал с любой пищей. Но организм не мог усвоить их, задержать в себе. А мы не знаем, в какой именно форме медь усваивается, обеспечивая устойчивость организма, и неизвестно, какой фермент или гормон ответственен за это.

– Но, доктор, может быть, еще не поздно что-то сделать? Может быть, вы... – самые молящие в мире глаза, глаза матери больного ребенка, смотрели на Гирина, – повидали бы его. Он недавно в этой больнице!

И опять прирожденный врач в Гирине не смог произнести жестких слов отказа, объяснить, что неизлечимая вообще болезнь зашла, вероятно, уже далеко, что его поездка так же бесполезна, как если бы позвали музыканта или фокусника. Но, как психолог, он знал, что нельзя пренебрегать малейшим шансом, чтобы облегчить горе, уменьшить депрессию и отчаяние матери, мнящей, что она еще что-то делает для погибающего сына. Укоризненно взглянув на огорченного и смущенного геолога, страдавшего и за своих друзей, и за Гирина, Иван Родионович распрощался с ним и пошел к стоянке такси вместе с обоими супругами.

Как это нередко бывает, непрошенный консультант был холодно встречен больничными врачами, и это уже усилило неловкость, всегда испытываемую Гириним, когда ему пришлось поневоле вмешиваться в то, что казалось ему совершенно правильным.

Юноша лежал в трехместной удобной палате около окна и находился в забытьи. Гирин отвел в сторону палатного врача (он, на удачу, оказался в этот вечер дежурным) и вполголоса извинился перед ним, сознавшись, что уступил лишь родителям, а сам знает, что такое вильсонова болезнь. Палатный врач так же тихо сказал, что разрешит осматривать больного хоть десяти врачам, если это облегчит переживания родителей. Гирин крепко пожал ему руку и пошел к больному, твердой рукой откинул одеяло и сел на стул, в то время как родители в кое-как напяленных белых халатах переминались около пустой койки рядом.

Красивый, хорошо сложенный юноша лежал совершенно неподвижно. Припухшие веки были сомкнуты с напряжением, придававшим лицу выражение мучительного усилия. На высоком лбу проступали едва заметные капельки пота, побелевшие губы застыли в жалкой гримасе. Гирин отметил хорошую, чистую кожу больного, еще носившую следы прошлогоднего загара, ощупал ступни и кисти, вопреки ожиданию – горячие и сухие. Что-то во всем облике больного наметнуло опытному глазу Гирина на состояние, не соответствовавшее гибельному заболеванию. Крайняя, каталептическая фаза истерии, а не коматозный эффект тяжелого заболевания. Далекий еще от какого-нибудь заключения, Гирин осторожно ощупал мышцы ног и рук. К удивлению, мышцы были ригидны – тверды и упруги, вовсе не в той степени истощения, как то должно было быть при вильсоновой болезни.

Искра предположения, почти невозможной догадки заставила Гирина, как всегда, напрячься всем телом и задержать дыхание в радостном предчувствии новой возможности, бесконечно далекой от всего того, с чем он шел к постели больного. Он глубоко задумался и не заметил ухода палатного врача. Негромкий голос с койки, стоявшей у другой стены, заставил Гирина очнуться. Старый человек с жидкой бородкой, по-видимому казах, приподнялся на локте.

– Хороший, молодой, ай-яй, пропадает. Жалко, сердце болит. День лежит совсем мертвый, а ночью встает...

– Встает! – Гирин вскочил так резко, что мать больного вскрикнула, а старый казах обиженно поджал губы.

– Говорю, встает, чего пугался? Я неделя как пришел, а он два раза вставал. Молчит, не смотрит, дышит, как загнанный конь. Встанет, обратно упадет на койку, опять встанет. Потом в горле у него зарычит, он – назад падал, как бревно делался. Я подходил, поправлял, чтоб не катился койка на пол.

– А вы говорили что-нибудь докторам?

– Зачем говорил? Кто меня просил? Доктор сам знает. Главный доктор знаешь какой серьезный!

– Ох, спасибо тебе, рахмат, аксакал! – Гирин невольно заговорил по-казахски – он немного знал язык, побывав в Киргизии и Казахстане. – Куп джахсы!

– Что такое? Что он говорит? Вы думаете, есть надежда? – Прерывистая речь матери говорила о крайнем нервном напряжении, могущем перейти в истерический припадок.

– Уведите ее домой, – вполголоса приказал Гирин профессору геофизики. – Не говорите ей абсолютно ничего – взлет надежды, которая не оправдается, может погубить вашу жену. – И Гирин, улыбнувшись старому казаху, пошел искать палатного врача.

Побледневший профессор выскочил вслед за ним в коридор.

– Только одно слово: надежда есть?

– Слабая, почти невероятная, но есть. Только если вы проговоритесь... – И Гирин погрозил увесистым кулаком.

– Хорошо, хорошо, – геофизик всхлипнул.

– Молчать! – сердито приказал Гирин, и профессор скрылся в палате.

Палатный врач и Гирин долго сидели в небольшом холле отделения. К ним подошла заведующая отделением, и врач представил Гирина, коротко изложив существо его соображений. Заведующая опустила в кресло, скептически глядя на пришельца и сдвинув аккуратно подбритые брови.

– Боюсь, что мне придется не согласиться с вашими доводами, – твердо сказала она, помахивая рукой, чтобы разогнать табачный дым. – Соня, откройте окно, – окликнула она возившуюся у холодильника медсестру.

– Чем вы рискуете в попытке спасти приговоренного? – настойчиво спросил Гирин.

– Чем рискует врач, если способ лечения будет признан неудачным? Когда ничего не смыслящие в медицине родственники начнут дело о якобы загубленной жизни? Разве сами не знаете?

– Хорошо знаю, – горьковато усмехнулся Гирин. – Но тут вам ничего не грозит – родители вполне интеллигентные и умные люди, я объясню им все. А если вы считаете недостаточным, сделаем по-другому. Завтра же родители возьмут сына у вас «под расписку».

– И если он погибнет...

– Вы-то уж отвечать не будете. А если выздоровеет? Как тогда? Ответственность за неверный диагноз и неправильное лечение ведь тоже есть! Решайте.

– Хорошо. Перестанем говорить формально.

– Давно бы так.

И Гири́н стал излагать внезапное предположение, возникшее у него в палате. Он говорил, что психиатрам известно множество заболеваний, возникающих только на психической основе. Может развиться даже склероз головного мозга, совершенно не отличимый от возрастного. Количество таких психоболезней резко возрастает в эпохи эпидемий, войн, голода, террора. Это показывает, что главной причиной таких болезней является истерия, не в бытовательском смысле, а в медицинском. Зачастую это душевный конфликт в области подсознательной, но в основном это углубляющееся и расширяющееся разобщение сознательного и подсознательного вследствие какого-либо длительного воздействия тяжелых для больного обстоятельств жизни или длительного подавления сильных чувств. Человек бессознательно пытается уйти от тяготящей его, невыносимой для его слабых или ослабевших душевных сил жизненной обстановки. В те же Средние века этот уход был во внушенную самому себе инвалидность. Количество паралитиков самых различных возрастов было чудовищно в сравнении с небольшой тогда численностью населения. Таким же неестественно большим становилось количество излечений, поднимавших авторитет религии и церкви. Глубокая истерия, создавая болезнь (часто – самовнушением), в то же время делает человека чувствительным к внушению. Поэтому истерические заболевания дают те внезапные и как бы чудесные исцеления, на какие падки приверженцы религии. Есть и пугающие случаи. Мощные мышцы бедра при спазматической истерии легко переламывают свою же бедренную кость – так называемые автопереломы.

Множество подобных заболеваний наблюдалось в обе мировые войны. К сожалению, врачи еще мало умеют распознавать истерическую, вернее психическую, природу ряда заболеваний. Еще меньше делается для предупреждения их.

– Вы думаете о специальных госпиталях? – спросила заинтересованная заведующая.

– Совершенно верно. Даже не о госпиталях, а о каких-то изолированных от внешнего мира общежитиях, где в условиях строгой дисциплины усталый, находящийся накануне заболевания человек мог бы заниматься несложной работой, преимущественно физическим трудом, и пробыть два-три года, иногда меньше, до восстановления сил. Кстати, монастыри в старину привлекали многих людей именно возможностью передохнуть от конфликта с жизнью, от психического разлада. Немало народу приходило туда, но становилось не монахами, а послушниками, то есть они выполняли определенную работу за келейку и питание. Укрывались там и богачи – те, разумеется, за плату. Но это особый вопрос. Вернемся к нашему больному. Я почти уверен, что у него тяжелая форма истерии с каталептического характера трансами.

– Но ведь в моче – верный признак вильсоновой болезни. И все другие симптомы...

– Попробуем быть диалектиками. Недостаточность энзима вызывает потерю меди, а эта потеря ведет к поражению определенных участков мозга. Перевернем ситуацию. Поражение, или психическое подавление, тех же участков мозга ведет к изменению биохимии организма, потере этого самого энзима и выделению меди. Возьмите болезнь Граве или психическую базедову болезнь – разве здесь нет серьезного нарушения гормонального биохимического равновесия?

– А ведь получается неплохо, – вырвалось у палатного врача, но он умолк, искоса взглянув на свою серьезную начальницу.

– Что ж будем делать? – спросила та уже гораздо мягче. – Пожалуй, следует прежде всего проверить ваше предположение. Я попрошу доктора Синицына сейчас же позвонить родителям Миши и расспросить о периоде, предшествовавшем заболеванию. С точки зрения психической депрессии. Палатный врач встал и пошел к телефону.

– Великолепно! – воскликнул Гири́н. – А потом, вероятно, следует начать с успокоителей. Этих зонтиков, широко защищающих мозг от всяких потрясений.

– Зонтиков – какое меткое название! – рассмеялась заведующая. – Биохимики прямо поэты. Мне так и представляется широкий зонтик, раскрытый над обнаженным мозгом больного!

– А собственно, так и есть. Все эти родственные атропину, да и кураре, успокоители отлично действуют даже при эпилепсии. Итак, мелларил. Дадим вдвое.

– А потом?

– Проконсультируемся с профессором Рогачевым насчет гипноза. По-моему, хорошее внушение, и вильсонова болезнь, если она мнимая, исчезнет. Это я беру на себя, а вы – зонтик. Идет?

Заведующая кивнула, глядя в конец коридора, откуда появился палатный врач.

– Выяснили?

– Ничего особенного. Перед заболеванием мальчик был очень угрюм, молчалив, но ни в чем не признавался родителям, не подтвердил ни одного предположения матери: несчастная любовь, плохая компания и тайная болезнь – этот набор у всех матерей одинаков.

– И, кстати, наиболее част на самом деле, – сказал Гирин. – Но это выяснится потом, а сейчас похоже на депрессию, отчего бы она ни произошла. А долго было это состояние, не сказали?

– Сказали. Около года.

– Вполне достаточно. Эх, родители! То слишком вмешиваются, портят жизнь и психику детей, то предоставляют им свободу, когда этого делать нельзя. Скоро ли мы сумеем давать обществу правильно воспитанных детей? Когда пойдем, наконец, что воспитание – самое важное дело и здесь нельзя пренебрегать никакими возможностями?

– Какой вы странный человек, – сказала заведующая. – Огорчились, будто вам самому нанесли большой ущерб.

– А кому же? Я частица нашего общества и страдаю, если в нем еще не все идет как надо. Это касается меня непосредственно: ведь я живу в этом обществе, и ни в каком другом жить мне не придется. Значит, обо всем договорились и действуем. Только пока матери – ни гугу.

Заведующая и палатный врач проводили Гирина до самой лестницы, и прощание было совсем не похоже на встречу.

Глава 4

Королева ужей

Сима лежала на диване, закинув руки за голову, и старалась войти в то расслабленное, с приглушенными мыслями состояние, которое помогает спортсмену избежать «скованности» или нервного перенапряжения. Даже любители спорта, хореографии, циркового искусства, музыки не знают, как много талантливых людей не смогли добиться настоящего успеха из-за того, что их нервная система в самый ответственный момент как бы цепенела, лишалась той точнейшей, поистине музыкальной, координации, которая нужна каждому, кто превращает свое тело в инструмент для выражения чувств, выносливости или силы.

Бывает так: долгая тренировка отработала точную координацию движений, мышцы развиты и полны накопленной силы, сердце сделалось неутомимым двигателем, готовым перекачать те тонны крови, что пройдут через него во время спортивного соревнования или артистического выступления. И вдруг словно тайная отравка поражает мозг: внезапное предчувствие беды, поражения или страха, может быть, какое-то психическое воздействие вроде гипноза со стороны почему-либо недоброжелательных или скептических зрителей. Тогда у неустойчивых душевно людей возникает самовнушение. Достигнутый долгим трудом автоматизм действий, переведенных из сознательного в подсознательное, переходит обратно в ведение сознания, уже отравленного случайным внушением. И все! Великолепная координация разлагается, мышцы скованы утраченным сознанием, вместо плавных движений совершают рывки, вместо мгновенных рывков – замедленные, заторможенные усилия. И надолго, если не навсегда, поселяется в душе артиста или спортсмена страх выступления, иного заставляя даже расставаться с любимым занятием, избранным по призванию и по способностям.

Вот почему психическая тренировка человека, призванного служить своим телом искусству или спорту, не менее важна, чем всякая другая. Это одна из причин, почему, например, балетные школы, чтобы создать безупречных артистов, начинают обучение с детского возраста. Но у многих спортсменов, неожиданно пришедших к спорту, срок тренировки и обучения гораздо короче, и тут-то меры психического воспитания чрезвычайно важны.

Сима знала это, но для ее здоровой психики со слитой в единое целое сознательной и подсознательной работой мозга не было проблемы скованности. В художественной гимнастике еще помогает музыка. Музыка создает настроение, поддерживает ритм, помогает соразмерности поз силой звучания. Другое дело – выступления на снарядах, под безмолвным взглядом тысяч глаз, оценивающих каждый поворот тела, каждый взмах руки или сгиб ноги. Но и здесь приходит на помощь веселый задор, огненное чувство уверенности, какое дает лишь упорная тренировка.

Сима подняла руку и посмотрела на часы. Рита скоро придет помочь разучивать новую композицию, а она еще не переделалась. Сегодня ей никак не удастся сосредоточиться и продумать вторую, медленную часть выступления. Мысли возвращаются к недавней встрече на выставке московских художников. Перед Симой вновь, в который раз, встала в памяти сцена: группа людей у подножия огромной деревянной статуи, скептически равнодушные или насмешливые лица. А среди них доверчивый и в то же время с глубокой внутренней уверенностью, слегка наклоняя голову и простоудушно спрашивая знатоков искусства, стоит он, этот любопытный врач-искусствовед, Иван Гирич. Такое русское имя и весь облик, дисциплина и точность во всех движениях, мыслях, сдержанная речь, глубокий голос.

Сима не терпела дешевой насмешки, того вульгарного осмеяния, которым люди невежественные или слабые нередко прикрывают свое недоверие к новому, зависть к красивому, испуг перед глубиной знания. Ей показалось, что художники хотели посмеяться над незна-

комцем, посмевающим как-то обосновывать свой собственный взгляд (совпавший с восприятием Симы) на произведение скульптуры. Полная сочувствия, она послала ему мысленное одобрение. А он вовсе не был смущен или робок и не то чтобы показал знание законов искусства, но изложил захватывающе интересные соображения о существовании прекрасного.

Получилось просто и неизбежно, что они познакомились и пошли вместе, говоря так же открыто и просто обо всем, что глубоко затрагивало и волновало обоих. Сима впервые встретила человека, для которого многое в науке было открытой книгой. Благодаря ему оно стало доступно и Симе, умеренно образованной, обыкновенной женщине, для которой радость тренированного, гибкого и сильного тела, что скрывать, не раз казалась стоящей многих серьезных книг. Благодаря Гирину Сима словно отдернула завесу обычной жизни.

Легкий стук в дверь прервал ее мысли. На пороге появилась Рита Андреева, высокая, золотоволосая, с веснушками на симпатичном мальчишеском лице.

– О великий и мудрый халиф! Я прихожу к тебе смиренным музыкантом и застаю твое величество овеванным восточной негой. Прикажешь ли ожидать своему визирю? Или, быть может, Гарун-аль-Рашид захворал, да сохранит его Аллах?

Расхохотавшись, как школьница, Сима вскочила, наградила подругу поцелуем и большим апельсином и принялась надевать спортивный костюм за раскрытой дверцей шкафа. Рита была еще первокурсницей в институте физкультуры, когда, подружившись, они придумали эту наполовину игру, наполовину серьезную деятельность, продолжавшую тимуровские мечты детства. Подруги занялись «самодеятельностью». Как романтический халиф арабских сказок, по вечерам передевавшийся в простолюдина и вместе с великим визирем обходивший город в поисках нуждавшихся в помощи несчастных, Сима приняла имя Гарун-аль-Рашида. Была приобретена толстая тетрадь, куда записывалось содеянное – самые разнообразные дела, по существу, весьма скромные, ибо какие возможности были у двух девчонок, кроме добрых сердец и сильных ног?

– Поиграй что-нибудь, я разомнусь, – сказала Сима, выходя из-за шкафа.

Рита тщательно вытерла смоченные липким апельсиновым соком пальцы и уселась за пианино, огласив комнату торжественным гавотом. Сима начала разминку, глядясь в зеркало, занимавшее всю стену бедно обставленной, просторной комнаты.

– Пока можно с тобой разговаривать? – спросила Рита. – Вообще-то есть серьезное дело, гарун-аль-рашидское, но о нем после. А пока... ты знаешь, я люблю трещать, как говорил твой бывший муж.

– Только я буду молчать, чтобы не терять дыхания.

– Знаю. Я вдруг вспомнила, как ты рассказывала о своей приемной матери. Давно еще, когда я впервые пришла к тебе, я удивилась, что у одинокой девчонки большая комната, пианино да еще зеркало такое. Это от нее и твой английский язык, и знание искусства?

– Да, она воспитала и выучила. И положила массу труда, чтобы я стала образованной. А я не сумела. – Сима закружилась, сделала несколько прыжков и, перевернувшись через голову, оказалась на диване. – Теперь пять минут отдыха, и начнем композицию. В нотах я отметила, что пропустить. Ты уже разыгрывала адажио из «Эгле»?

Вскоре лицо Симы стало сосредоточенным. Она встала перед зеркалом в застывшей позе, выдвинув вперед правое плечо и скрестив опущенные и напряженные руки.

– Я начну прямо с этой, как ее... замедленной части? – спросила Рита.

Сима молча кивнула. Рита заиграла, стараясь следить и за нотами и не упускать из виду отраженную в зеркале подругу.

Композиция, задуманная Симой, была нелегка. Размеренный шаг аккордов отражался в резковатых, с внезапными остановками движениях гимнастки, которые показались бы отрывистыми, если бы не сменялись плавными, как бы растянутыми переходами. Гимнастка хотела создать композицию, соответствующую темпу современной жизни и частой, нервной

смене впечатлений. Сима давно сказала Рите, что многие танцы, вернее выражение чувств в них, созданы по образцу прошлых времен, когда у женщины имущих классов было много времени на сложнейшее развитие ощущений и эмоций, когда ей надлежало переживать муки и радость любви во много раз сильнее, чем мужчине, безраздельно поддаваться страсти, быть шаловливой, быть забавной. А Симе хотелось, чтобы в ее танцевально-гимнастической сюите была современная женщина, тоже чувствующая сильно и глубоко, но пытающаяся осмыслить свое место в жизни и мире. Женщина, занятая разнообразным делом, а не только ожидающая прихода избранного мужчины. Вряд ли задуманное полностью удалось, но что-то получалось, серьезное и красивое.

– Финал играть? – спросила Рита, не останавливаясь.

– Да, да!

Быстрые, почти неуловимые движения Симы сменялись мгновенной остановкой в позе, полной пластического изящества, неподвижность которой подчеркивалась коротким, резким, вызывающим заключительным сгибом руки, поворотом головы или раскрытием пальцев. Резко поднятая и остановленная нога, сгибание или выпрямление кистей закинутых над головой рук казались смешливыми после трудных балетных па гимнастического танца.

И превосходное сложение Симы сделало танец похожим на кинокадры с отточенного произведения живой скульптуры. Смена выразительных поз в ритмической последовательности, и все тело застывало в немыслимой балансировке, а резкие заключительные движения рук как бы говорили о том, как легко и весело гимнастке. Адажио кончилось.

– Еще раз финал! – отрывисто потребовала Сима.

– Отдохни!

– Нет! Я не устала.

Рита играла снова и снова, пока Сима не попросила перерыва. Рита, повернувшись на винтовом табурете, пристально смотрела на подругу.

– Ты хороша! Прямо по-свински хороша!

– При чем же тут свинство? Хороша, как свинья? И это дружеское одобрение?

– Перестань! Не прикидывайся, что ты ничего не понимаешь! Свинство заключается в том, что у тебя все так ладно: и фигура, и движения, и чутье при исполнении. Сколько бьешься, чтобы все это привести в соответствие, а у тебя оно готовое... Помнишь австрийскую фигуристку, выступавшую на показательных соревнованиях в апреле. Карин Фронер?

– Конечно. Помню ее произвольную композицию – танец «модерн». И что же?

– Она совсем такая же черненькая симпатяга, и фигура в точности твоя.

– Рита, милый мой визирь, – Сима усадила подругу и обняла ее за плечи, – а мне вот хочется быть повыше, такой, как ты. И с таким же легким телом, как у Люси. Вспомни ее прыжки! Куда мне! А вспомни эту дивную маленькую девчужку, Лену Карпухину. Несомненно, будет чемпионка. Гибкость, подлинное изящество, не могу точно выразить, красивая свобода движений, быть может. И все ладно в этом ее крепком теле, несмотря на рост.

– А ты очень похожа на Карпухину, знаешь? Только, конечно, взрослее и – очень женщина, в этом твоя особенность и твоя сила. Мужчины должны бы повалиться к ногам твоим и на руках тебя носить.

– Они и рады носить, только быстро роняют, – рассмеялась Сима, – как Георгий, мой бывший муж. Ну, ты его знаешь!

– А другие? Ведь на нем свет клином не сошелся.

– Не сошелся, ничуть. Но как-то получается, что от тебя требуют быть такой, какой им хочется. Стараются тебя слепить по подходящей для них форме. И беда, если ты оказываешься сильнее! Тогда им надо выказать свое превосходство, а если его нет, то, значит, надо унижить тебя, пригнуть до своего уровня и даже еще ниже.

– Ух, это я знаю! – важно согласилась Рита. – Ну, поставим чайник? Кончили?

– Если не устала, еще разок? До девяти часов, хорошо?

И Рита играла адажио из балета Бальсиса еще целый час, а Сима старательно отработывала свою произвольную программу. Наконец она умчалась под душ, оставив Риту в задумчивости перед пианино.

– Что ты скажешь о моей программе? – спросила Сима, причесывая свои густые волосы.

– Знаешь, все хорошо. Но... – Рита подумала, собираясь с мыслями, – я бы искала что-то другое. Тут нет завершения, последнего взлета, какого-то отчаянного накала, ну того, чем бы должна закончиться композиция, идущая так сильно. Я бы даже сказала, что она чуть холодновата для тебя. Впрочем, может быть... – Рита умолкла.

– Что – может быть? Я сама кажусь тебе холодноватой?

– Иногда. Но и как-то странно: где бы женщине надо быть пылкой – ты спокойна, а порой проявляешь прямо яростный темперамент.

– О, интересно! А ведь ты, наверно, права, – ответила Сима, садясь на край дивана. – Мне почему-то всегда думалось, что любовь сильных и здоровых людей должна быть легка и светла. В ней ничего не искажается и не подавляется. А если проходит, то тоже без «самораздирательства», без мрака и безысходности. У меня так и получалось – проходило легче, чем у других людей. Но не потому, что я прыгала по верхушкам.

– Не потому, – согласилась Рита. – Я тебя достаточно знаю, чтобы не сделать предположения, какое, наверное, пришло бы некоторым в голову. Если у тебя разные интересы, если захватывает работа, тогда понятно, что ты не та женщина, у которой один свет в окошке – ее любовь.

– Может быть. Всегда бывало так: горько, печально, тяжело, и в то же время где-то в глубине таится уже какое-то облегчение: вот все кончилось, и стало по крайней мере ясно.

– И одиноко и пусто.

– Да. Вот этот страх одиночества, по-моему, самый сильный у нас, женщин. Сколько хороших девушек поспешили из-за него выскочить замуж за первого попавшегося и до сих пор расплачиваются за эту поспешность. Одиночество пугает, как представишь себя больной, пожилой... Да, этот страх всосан с молоком матери, он идет от старой деревенской жизни, когда действительно одинокой женщине предстояла нищета, горькая жизнь. Не то теперь. Женщина умеет заработать свой хлеб не хуже мужчины, вокруг нее много людей, она всегда может найти себе дело и в старости. – И Сима потянулась, унесшись мыслями к событиям позавчерашнего дня, пока Рита не встряхнула ее за плечо.

– Что с тобой, о несчастная? Ох, халиф, уж не влюбился ли ты в какую-нибудь рабыню из далекой страны?

– Нет, я лишь подружился. Она во-от такого роста.

– Что-то новое, Сима! Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?

– Как хочется верить! Иногда мне кажется, что мы, современные люди, еще не доросли до этого. Во всяком случае, двое хороших мужчин говорили мне о дружбе, а кончили... Один подолгу объяснял, что он тоскует без женщины-друга, что сейчас совсем прекратилась дружба между мужчиной и женщиной из-за засилья мещанства, что было бы так замечательно дружить без обязательного требования любви, от которой он устал. Но ничего не вышло!

– Может, вышло бы, будь ты похуже?

– Не знаю. Но уверена: в дружбе не так, как в любви, дружба требует обязательной взаимности. И равенства во что бы то ни стало. Но не в смысле одинаковости. Понимаешь?

– Конечно, и, думается, ты права, Сима. Но расскажи о рабыне халифа.

– Я люблю таких людей за то, что они работники в полном смысле этого слова!

– Как мой отец и мама! – воскликнула Рита. – Мама говорит, что никогда не устает, если ей что-либо интересно или нужно позарез.

– Мне надоели люди, считающие, что они все уже сделали для семьи, государства и себя. Часто это скрытые бездельники...

– Сколько же все-таки лет рабыне?

– Она не очень молода, честно говоря, много меня старше.

– Не знаю, не знаю, – неодобрительно покачала головой Рита.

– Ты выглядишь разочарованной. Что тебе не нравится?

– Я могу поклясться, что ты увлечена, Сима. Но мне всегда думалось, что у тебя появится такой настоящий, достойный тебя и ты станешь для него богиней, зажигающей его, он должен дрожать от желания и нетерпения. И он будет фантазер, неистощимый на выдумки и неутомимый в старании выразить свою любовь, восхищение. А пожилой... Я понимаю: знание, опыт жизни, чуткое понимание, все эти рассказы о пережитом... И все это ничего не стоит перед большой и юной любовью.

– Ты забываешь, что я уж не юна сама, и потом... все это уже было у меня. И если бы ты знала, как быстро исчезает новизна, если нет обоюдного понимания пути, я не знаю, как лучше сказать. И, конечно, мне нужно, чтоб был у обоих интерес ко многому, а у него еще знание.

– Я жду другого. Пусть он будет весь в мечтах обо мне, пусть будет восхищаться мной и ревновать, пусть даже будет какая-то доля мужской свирепости, чтобы я чувствовала себя сразу и богиней, и покорной невольницей!

– Ой, это кончится плохо, Рита! Времена корсаров и рыцарей миновали. Твой партнер в жизни будет скорее всего следить, как бы ты не заставила его делать больше, чем делаешь сама.

– Не смейся, халиф, я совершенно серьезна. Не выйдет, то обрету опять свободу.

– Свобода возможна лишь при условии большого одиночества, это люди часто не понимают, и ты тоже. Лучше будем пить чай. И что за дело к халифу?

Рита рассказала о происшествии, взволновавшем всех учениц в общежитии. Одна из работниц, юная, хрупкая, беленькая девушка, Надя, полюбила молодого, только что «испеченного» летчика, статного и самоуверенного. Ни у кого из них не было комнаты, поэтому подруги, потеснившись, выделили для молодоженов небольшую комнату в общежитии на время, пока они найдут себе пристанище. Ночью подруги Нади, еще занятые уборкой после свадебного пиршества, стали свидетелями мерзкой сцены. Дверь из комнаты молодых распахнулась. Летчик, кое-как одетый, с чемоданом в руке, обернулся на пороге, выругавшись. Его молодая жена, рыдая, цеплялась за рукав разъяренного мужа и, грубо отброшенная, упала на колени. «Проститутка!» – заорал летчик и выскочил из общежития.

Прибежавшие подруги подняли Надю, усадили на постель, прикрыли одеялом. Из бессвязных всхлипываний удалось понять, что Надя не была невинной девушкой, но побоялась сказать об этом своему любимому. Она думала, что как-нибудь скроет то, что было коротким и неудачным романом ее юности. Но летчик почел себя оскорбленным в лучших чувствах, ограбленным и обманутым. Никакие мольбы не тронули ревнивца, он так и не появился больше.

– Может быть, ты придешь поговорить с ней? Надя твердит одно: жизнь кончена, сама себя погубила, кому нужна теперь такая?

– Ну уж и летчик, изувер какой-то! – возмутилась Сима.

– А ты взгляни по-другому. Его так воспитали. Так считается у мужчин, что очень важно, если он первый. Найдешь в любом романе.

– Нашла, на что ссылаться, на книжное старье.

– При чем тут старье? Возьми некоторые наши современные произведения – там тоже герои очень чувствительны в этом отношении. Упаси бог, чтобы у героини был кто-то раньше, начинаются терзания, унижения. Так чего же ты от парня хочешь? Он мечтал, чтобы все было, как его учили. А дурешка Надя оказалась трусихой и не смогла ему сказать!

– Насчет книг ты права, Маргарита. Но с трусихой... Что же, встань во фронт и рапор-туй: знаешь, я не невинна, хочешь – люби, а хочешь – нет? Что-то есть в этом противное...

– И в то же время ничего не сказать тоже нехорошо. Будто прячешься от того, кто дол-жен стать самым близким на свете, – возразила Рита.

– Да, и так и этак получается неладно. Как же быть? – задумалась Сима. – Ага, вспом-нила, кто говорил о тончайшей линии, как лезвие бритвы, проходящей между двумя невер-ными крайностями. Маргарита, я позвоню ему, посоветуюсь насчет Нади.

– Кому это? Ох, Серафима, с чего это вдруг понадобились тебе советы? Разве поглу-пела?

– Не говори глупостей сама!

– Да кто же он, в конце концов? Академик, профессор?

– Без столь высоких званий. Научный сотрудник или врач, не знаю точно.

Профессор геофизики яростно наседал на Андреева, требуя адрес Гирина. Тот уверял, что еще не знает, где живет недавно приехавший в Москву приятель и что адресный стол тоже не поможет: Гирин, наверно, прописан еще временно. Геофизик разразился прокляти-ями.

– Наташа меня казнит, если я вернусь без адреса. Она говорит, что никогда раньше не испытывала такой неистойвой благодарности.

– А он сказал бы, что это последствие перенапряжения психики. Посоветовал бы лекар-ство, чтобы избавиться от диких порывов.

– Посмей-ка это сказать Наташе, когда сын уже встает. Несколько приемов лекарств, два сеанса внушения, и чудо совершилось! – крикнул геофизик.

– То-то и хорошо, что нет чуда. Просто эрудиция и ясный ум врача. Но я сообразил, как ты можешь узнать адрес: позвони в его институт, я случайно запомнил название. Только, право же, зря.

– Так ведь для Наташи... Нет, вру, и для себя тоже.

... – Верочка, вот конфета, большущая. В связи с окончанием можно бы и поцело-ваться... Впрочем, не стоит, у тебя вид сердитый, – сморщился студент Сергей, помощник Гирина. – А что теперь, Иван Родионович? Может, вашим займемся?

– Займемся. Мы наработали столько материала для нашего профессора, что ему раз-бираться хватит месяца на три. По договоренности, я могу теперь воспользоваться лабора-торией... и вами, если захотите.

– Еще бы! Вы говорили насчет эйдетики?

– Угадали. Ею и займемся. Подобраны интересные люди.

– А что это такое, Иван Родионович? – спросила лаборантка.

– Иногда встречается необычайно сильное зрительное воображение. Мысленные кар-тины такой поразительной яркости и живости, что они кажутся реальнее подлинной жизни. Если поставить перед таким человеком экран, то он, рассказывая, как бы проецирует мыс-ленные изображения на него, словно смотрит через окно на происходящее в действитель-ности.

– А эта возникшая картина так и остается неизменной в его уме?

– Обычно. Но бывает и так, что проходит последовательно сменяющийся ряд картин, следуя, очевидно, развитию воображаемой истории.

– Ух как здорово! Я бы хотела обладать этой способностью.

– А может, она была и у вас. Эйдетическое воображение вовсе не так редко, встречается у многих детей, впоследствии утрачивающих эту способность.

– Ручаюсь, Верочка, что у вас ее никогда не было, – вмешался Сергей.

– Это почему?

– Иначе вы непременно влюбились бы в меня. – Гирин с улыбкой наблюдал за дружеской пикировкой своих молодых помощников, продолжая размышлять над предстоящими опытами. Вся суть поставленной им проблемы заключалась в том, что в отдельных случаях эйдетическое воображение детей показывало больше информации, чем они могли успеть получить всеми доступными им способами из внешнего мира. Идеалисты объясняли эту избыточную информацию или существованием некоего мира нематериальных психических восприятий, откуда душа ребенка якобы могла получить самые необычайные сведения, или чаще памятью прошлой жизни, если следовать учению о переселении душ, странствующих из тела в тело после смерти. Естественно, наука не могла принять идеалистических «разъяснений». Но, отрицая категорически мистику, надо было добиться настоящего понимания. С развитием кибернетики многие непонятные процессы мышления и памяти стали приобретать зримые материальные контуры. Гирин теперь мог обратиться к опытам, пусть еще только нащупывающим метод, пусть не достигшим той целеустремленности, какой отличаются научные исследования, уже накопившие много фактов. Ему надо было найти взрослых людей, сохранивших способность эйдетики, людей, которые могли бы добровольно подвергнуться опытам и сумели бы описать свои ощущения. Такие люди нашлись: девушка-студентка, инженер, художник и электромонтер. Все горели нетерпением послужить науке, нужно было только время, а вернее – свободная лаборатория. Теперь пора!

– Вас, Иван Родионович! – окликнула его лаборантка из дальнего угла лаборатории и подала ему трубку.

Гирин не сразу сообразил, кому принадлежит этот негромкий голос и что по телефонному проводу принеслась к нему настоящая радость. Явственный для Гирина оттенок волнения говорил ему, что разговор был небезразличен и для позвонившей, от этого ему стало еще приятней. Он сказал, что удобнее всего ему прийти сегодня же, потому что завтра начнутся опыты, и получил согласие. Гирин постоял у телефона, рассчитывая время. Здесь его настиг студент, собиравший оставшиеся от прежней работы записи, диаграммы, схемы полей зрения, черновые протоколы опытов.

– Завтра начнем, Иван Родионович?

– Обязательно. Монтер работает в вечернюю смену, так мы его с утра. Я позвоню ему.

– А что готовить? Только экраны, карандаши и общий медицинский набор?

– Нет, пусть Вера приготовит и энцефалограф. Большой. Электроды будем ставить лишь на заднюю половину головы, одиннадцать штук. Лекарства я принесу, шприц тоже свой, мне привычнее.

– Разве прием лизергиновой кислоты не через рот?

– Через рот. Но всякое может быть. Да, вот хорошо, что зашел разговор, – на всякий случай заготовьте кислород: баллон и маску, не подушки.

– А разве...

– Опыт ставится на человеке, и хотя опасности нет, но ничего не должно быть упущено, – нетерпеливо сказал Гирин. – Психика иногда выкидывает такие вещи... Ну, мне пора. Заканчивайте и вы, отдохните как следует. Идите гулять, в кино, повезите Верочку домой на пароходике. Вечер на редкость теплый. До свиданья.

Оставшись вдвоем, студент и лаборантка переглянулись.

– Это сегодня-то теплый вечер! Холодище, без пальто не выйдешь, – удивленно сказал студент.

Верочка улыбнулась так многозначительно, что Сергей воскликнул:

- Неужели звонила «она»?
- Разумеется. Какой ты глупый еще, Сережа.
- Не верю. Это ты нарочно. Такую кибернетическую машину, как наш Иван Родионович, разве свернешь? Голову закладываю, что это очередной объект для опыта!
- Если голова не очень нужна, то можешь. Я бы на твоём месте не отдала и пальца.
- Да ну! А какая она... по голосу?
- Ничего, голос приятный, говорит вежливо и спокойно.
- Я не про то. Лет сколько, раз уж ты насквозь все видишь?
- Да как сказать... Пожалуй, молодоват голос-то. Но довольно трепаться! Собираемся, пошли! Выполняй приказ – вези на речном трамвае.

Гирин вернулся домой поздно.

Они с Симой долго бродили по великолепной липовой аллее Воробьевского шоссе. Сима поведала о несчастной Наде. Гирин обещал сразу же после лекции у художников показать Симе малоизвестную страницу истории Средневековья. Они пойдут в библиотеку и посмотрят на чудовище, причинившее наибольшие муки и вред женщинам всей Европы. Корни ревности и злобы, разрушивших счастье кроткой Нади, идут оттуда. Гирин думал, что понимание этой связи вооружит Симу, а через нее и Надю мужеством, достаточным для того, чтобы справиться с крушением любви.

Посадив Симу в троллейбус, Гирин пошел домой пешком, перебирая встревожившие его воспоминания.

В квартире все давно спали. Гирин осторожно снял пальто и подошел к столу. На стене висела красочная репродукция. Отвернувшись от темноты ночи, озаренная ярким светом, на краю стола сидела, скрестив ноги, девушка в белом костюме Пьеретты. Она откинулась назад, высоко поднимая розу. Тонкая ткань не скрывала линий ее цветущего тела. Полумаска, скрывавшая часть лица, казалась равнодушной в резком контрасте со сверкающими зубами и приподнятыми беспечным смехом холмиками девичьих щек. Короткая пышная юбочка высоко открывала ноги, переплетенные и согнутые для удержания равновесия. Миг огненного веселья на грани света и мрака, выхваченный и остановленный искусством художника. Секунда – и девушка вскочит на стол, танцует, или спрыгнет и скроется во тьме ночи...

Гирин снял со стены репродукцию, повернул ее так, чтобы не отсвечивало стекло, и прочитал стихотворные строчки, написанные крупным четким почерком наискось в правом нижнем углу:

Если узнаешь, что ты другом упрямым отринут,
Если узнаешь, что лук Эроса не был тугим...

Яркое воспоминание тоскливо стеснило грудь, но Гирин отбросил его, подумав, что память, особенно когда дело идет о давно прошедшем, вещь очень коварная. Ведь мы запоминаем преимущественно хорошее, яркое, сильное, а длинные куски незначущей жизни тонут в одинаковой череде дней. Всегда и везде с осторожностью относитесь к воспоминаниям людей старшего поколения. Они вовсе не думают обманывать себя и других, но сами видят вместо прошедшей жизни мираж отобранных памятью ощущений и образов, окрашенных вдобавок тоскливым сожалением о днях выносливой и здоровой молодости, быстро отдыхающей, крепко спящей. И полагающей, что так будет всегда, что естественный конец всего живого ее или не касается, или скрыт в неведомой дали. В общем, получается, как в литературном произведении. Жизнь как будто и настоящая, реальная, но в то же время концентрированная – большие переживания и впечатления заслоняют собой

медленные тоскливые дни с их мелкими разочарованиями. Вот так и тут: он, Гирин, вспоминает не действительность прошлого, а некий экстракт самого лучшего, красивого и милого сердцу.

Глава 5

Две ступени к прекрасному

Небольшой зал на Кропоткинской оказался сверх ожидания заполненным, и преимущественно молодежью. Пожилых и состарившихся «вельмож» изобразительного искусства можно было узнать в первых рядах по скучающему или нарочито презрительному выражению лиц. Гирин не раз уже встречался с этим удивительным для людей советского общества желанием напускать на себя глупую надменность.

Он смотрел в зал внимательным, ничего не упускающим взглядом натуралиста и увидел в шестом ряду Симу, высоко поднявшую круглый твердый подбородок, чтобы смотреть поверх голов. Мгновенное, как искра, ощущение радости объяснило, насколько привлекательна для него эта девушка. Странно, почему именно сейчас, в разгар напряженных поисков, сражений с косностью и лицемерием, с вечным сожалением об упущенном времени.

И, несмотря ни на что, вот она сидит, не видя его, в платье кофейного цвета, и ее присутствие в чем-то важнее для него всего остального. Или человеческое сердце всегда остается открыто прекрасному, и каждая встреча с ним обновляет вечное бессознательное ожидание нового, ради которого, собственно, и стоит жить?

Гирин скрыл улыбку и вышел на кафедру, не отрывая глаз от Симы. Ее лицо осветилось откровенной радостью. Председательствующий объявил о начале доклада.

– Я не назвал бы своего выступления докладом, – медленно и четко сказал Гирин. – Проходя по залу, я слышал некоторые высказывания обо мне и будущем выступлении. Одни, наиболее молодые, говорили, что с удовольствием послушают, как высекут зазнаек и мазилок. Другие, постарше, заявили, что с наслаждением разгромят докторишку, вздумавшего учить художников уму-разуму. Могу вас уверить, что я пришел сюда не для того, чтобы учить, сечь или быть разгромленным.

Мне думается, тут не митинг политических противников, не судилище и не стадион. Я рассчитываю здесь подумать над труднейшими вопросами человеческой природы вместе с умными и жаждущими познания людьми. Может быть, впервые за всю историю человечества наука дает возможность решать эти вопросы.

Аудитория стихла, заинтересованная необычным выступлением. Гирин продолжал:

– В 1908 году на дне Эгейского моря, близ острова Тера, который сейчас ученые считают центром Атлантиды, водолазы нашли остатки древнегреческого корабля первого века до нашей эры – точно не установлено. С корабля, в числе прочих предметов, подняли странный бронзовый механизм: сложное переплетение зубчатых колес, несколько похожее на механизм гиревых часов. В течение полувека ученым не удавалось разгадать тайну этого механизма. Только теперь выяснено, что это своеобразная счетная машина, созданная для вычисления планетных движений, очень важных в астрологии тех времен.

Но дело не в машине, а в том, что мы не смогли понять ее назначения до тех пор, пока сами не создали подобных же инструментов, конечно, гораздо более совершенных. И тысячелетия мы стоим не перед примитивной машиной, а перед высочайшим и сложнейшим совершенством биологических механизмов, управляемых теми же законами физики, химии, механики, что и любые созданные нами машины. Только в самые последние годы – между сороковыми и пятидесятыми годами нашего века – совершился небывалый взлет, беспредельное расширение горизонтов науки. Все человечество уверилось в ее могуществе, злом или добром – это зависит от нас.

Взлет науки дает нам силу приступить к изучению самого сложного творения природы – мыслящего существа, человека. Мы изучали его и раньше, но наивно думали, что простой скальпель, весы и примитивный химический анализ могут решить вопросы, для пони-

мания которых нужны квантовый микроскоп, электронные анализаторы и счетные машины. Биология и все науки о человеке получили возможность вскрывать особенности организма, прежде недоступные нашему пониманию.

Гири́н говорил о гигантской длительности пути исторического развития животных, давшего, наконец, человека. Говорил о миллионах тончайших связей, пронизывающих все клетки организма нитями, протянутыми во внешний мир, отзывающимися на различные излучения, световые, тепловые, звуковые, молекулярные, магнитные потоки, несущиеся и вибрирующие вокруг нас. Рассказал о наследственных механизмах, передающих не только всю нужную для создания нового человека информацию, но и огромную память прошлых поколений, отраженных в инстинктах и в подсознательной работе мозга. В последнем находится как бы автопилот, ведущий нас через все обычные изменения окружающей обстановки без участия сознательной мысли, надежно охраняющий от болезней, непрерывно следящий за той регулировкой организма, которую ведут и нервная система, и более древняя система химической регулировки – гормоны, энзимы.

Мозг человека – колоссальная надстройка, погруженная в природу миллиардами щупалец, отражающая всю сложнейшую необходимость природы и потому обладающая многосторонностью космоса. Человек – та же вселенная, глубокая, таинственная, неисчерпаемая. Самое главное – это найти в человеке все, что ему нужно теперь же, не откладывая этого на сотни лет в будущее и не апеллируя к высшим существам из космоса, все равно под видом ли астронавтов с других звезд или богов.

У человека область подсознательного очень велика. Емкость инстинктивной памяти, в ней заключенной, трудно даже себе представить. В дикой жизни подсознательные психические процессы играют первостепенную роль в сохранении вида, и животные в гораздо большей степени автоматизированы, роботизованы, чем мы это представляли себе раньше.

– Дикая жизнь человека, – тут Гири́н поднял ладонь высоко над полом, – это вот, а цивилизованная – вот, – он сблизил большой и указательный пальцы так, что между ними осталось около миллиметра. – Мозг – это природа и вселенная, но вселенная не одного лишь текущего момента, а всей ее миллионлетней истории, и опыт мозга отражает не только необъятную ширину, но и изменчивость природных процессов. Отсюда и диалектическая логика – выражение сущности этого мозга, а наша психика, отражающая внешний мир, – это такой же процесс и движение, как все окружающее.

Основы нашего понимания прекрасного, эстетики и морали восходят из глубин подсознания и, контактируя с сознанием в процессе мышления, переходят в осмысленные образы и чувства. Простите, знаю, что объясняю плохо. На этом можно и закончить затянувшееся вступление. Остается сказать, что все чаще чувство прекрасного, эстетическое удовольствие и хороший вкус – все это освоенный подсознанием опыт жизни миллиардов предыдущих поколений, направленный к выбору наиболее совершенно устроенного, универсального, выгодного для борьбы за существование и продолжение рода. В этом сущность красоты, прежде всего человеческой или животной, так как она для меня, биолога, легче расшифровывается, чем совершенство линий волны, пропорций здания или гармонии звуков.

Надо понять, что я говорю о красоте, не касаясь того, что называется в разных случаях очарованием, обаятельностью, «шармом», того, что может быть (и чаще бывает) сколько угодно у некрасивых. Это хорошая душа, добрая и здоровая психика, просвечивающая сквозь некрасивое лицо. Но здесь речь не об этом, а о подлинной анатомической красоте. Фальшивый же термин «красивость», как всякая полуправда, еще более лжив, чем прямая ложь. – Гири́н умолк. Гул прошел по залу, и тотчас же поднялся полный человек с короткой бородкой – эспаньолкой.

– Вы, я понимаю, сводите всю нашу эстетику к неким подсознательным ощущениям. Это, право же, хлестче Фрейда! – Оратор повернулся к аудитории, как бы желая разделить с ней свое негодование.

Гирин не дал ему высказать второй, очевидно, хорошо подготовленной фразы.

– Сводить – выражение, не соответствующее действительности. Не будем играть пустыми словами. Я думаю, что главные устои наших ощущений прекрасного находятся в области подсознательной памяти и порождены не каким-то сверхъестественным наитием, а совершенно реальным, громадной длительности, опытом бесчисленных поколений. Что касается Фрейда, то тут недоразумение.

Фрейд и его последователи оперировали с тем же материалом, что и я, то есть с психической деятельностью человека. Но путь Фрейда – спустившись в глубины психики, показать животные, примитивные мотивы наших поступков. Фрейдовское сведение основ психики к четырем-пяти главным эмоциям есть примитивнейшее искажение действительности. Им отброшена вся сложнейшая связь наследственной информации и совсем упущено могучее влияние социальных инстинктов, закрепленное миллионлетним отбором. Наряду с заботой о потомстве оно заложило в нашей психике крепкие основы самопожертвования, нежности и альтруизма, парализующие темные глубины звериного себялюбия. Почему Фрейд и его последователи забыли о том, что человек уже в диком существовании подвергался естественному отбору на социальность? Ведь больше выживали те сообщества, члены которых крепче стояли друг за друга, были способны к взаимопомощи. Фрейдисты потеряли всю фактическую предысторию человека и остались, точно с трубами на пожарище, с несколькими элементарными инстинктами, относящимися скорее к безмозглому моллюску, чем к подлинной психологии мыслящего существа. Моя задача, материалиста-диалектика, советского биолога, найти, как из примитивных основ чувств и мышления формируется, становится реальным и материальным все то великое, прекрасное и высокое, что составляет человека и отличает его от чудовищ, придуманных фрейдовской школой. Разве не ясно?

– Допускаю, – сказал, недовольно морщась, художник с бородкой. – Но неужели понятие красоты, особенно красоты человека, его великолепного тела, это только всосанное с молоком матери чувство какой-то правильности устройства пригодности для продолжения рода? Это нечто животноводческое, даже оскорбительное, для женщин в особенности!

– Скажите еще, что оскорбительно быть человеком, потому что имеются кишки, а с ними известные необходимые отправления, и надо есть каждый день, – спокойно и, как показалось Симе, печально ответил Гирин, вызвав смех зала.

– Такое понимание не ново, – продолжал он. – В начале нашего века среди ученых было модно упрекать человека в несовершенстве, а природу, его создавшую, – в глупости. Даже, например, Гельмгольц, изучая человеческий глаз, восклицал: «Какой плохой оптик господь бог! Я бы построил глаз куда лучше!» Увы, великий ученый сказал нелепость только из-за формального образа мышления. С диалектикой природы Гельмгольц не был знаком даже отдаленно, иначе он сумел бы понять, что глаз, отвечая нескольким назначениям, частью совершенно противоположным, как чувствительность к свету и резкость зрения, отличается замечательным равновесием этих противоположностей. У нас, прошедших столь большой путь после Гельмгольца, нет еще приборов, чувствующих всего два-три кванта света, как глаз. А его оптическое несовершенство чудесно исправлено в самом мозгу, опытом зрения. Итак, организм человека построен очень сложно и великолепно, но он – создание материального мира, построенного двойственно, диалектически. Организм и сам состоит из множества противоречий, преодоленных колоссально долгим путем развития. У организма нет никаких возможностей выхода за пределы материального, поэтому все наши чувства, понятия, инстинкты представляют собой реакцию на вполне материальные вещи.

Так и с чувством красоты: это отражение очень реального и важного, если оно закрепилось в наследственной, подсознательной памяти поколений и стало одним из устоев нашего мироощущения – никак иначе, ничего другого, иначе мы снова опустимся в стоячую воду идеализма. Вся эволюция животного мира – это миллионы лет накопления зернышко за зернышком целесообразности, то есть красоты. А если так, то основные закономерности чувства прекрасного должны поддаваться научному исследованию. Прежде это было невозможно, теперь время пришло!

– Невероятно трудно! – воскликнул кто-то из задних рядов.

– Конечно, трудно! Все новое и неизвестное трудно. И несомненно, что совместные усилия вас, творцов, собирателей красоты, и ученых скоро приведут к глубокому пониманию прекрасного.

– А зачем? – щуриглаза и чуть ли не потягиваясь, спросила высокая женщина, сидевшая у самого подножия кафедры.

– В самом деле, зачем? – откликнулось сразу несколько голосов. – Сколько твердили, что разум своим вмешательством убивает творческое вдохновение.

– История Моцарта и Сальери, алгеброй гармонию поверить, – презрительно бросил маленький человек с пышной седой шевелюрой.

Сима с тревогой наблюдала за Гириным, испугавшись, что лекция, так сильно ее заинтересовавшая, будет прервана. Но этот могучий, крупнолицый человек, с глазами одновременно пронизывающими и добрыми, бровью не повел.

– Что ж, это хороший пример! Сальери был ученым в своем поиске, и ошибкой его, если мы примем поэтический образ за реальность, было то, что он применил не ту отрасль математики. А так заметим, что гармония уже проверена математикой и машины скоро будут писать симфонии – весьма посредственные, но ведь сколько было посредственности в искусстве всех времен и народов...

Сима заметила, как ярко вспыхнули щеки высокой женщины, принявшей самую ленивую позу.

– Но остается главный вопрос: зачем? Зачем познавать законы природы, мир вокруг себя, – объяснение этого здесь интеллигентной аудитории было бы просто комичным. Но скажу другое: разве вам, художникам, не интересны и не важны причины, по которым одну вещь мы считаем прекрасной, а другую – нет? Разве вам не нужно понять, что же такое критерий красоты, хорошего вкуса, на чем основано эстетическое удовольствие? Разве вам не хочется знать все это именно, чтобы избежать посредственности, личных ошибок, чтобы лучше вооружиться в борьбе за новые, высшие ступени искусства?.. Разве для вас строгая закономерность форм прекрасного кажется узами, а не ключом, открывающим путь к бездонному разнообразию творений природы? – Гирин обвел взглядом зал и чуть не вздрогнул от звенящего волнением голоса Симы:

– Довольно, не теряйте времени, рассказывайте нам об этих законах. Равнодушные пусть уходят или спят...

Последние слова девушки потонули в одобрительном гуле, смехе и аплодисментах. Улыбнулся и Гирин, глянув на Симу. Та смутилась и поспешила укрыться за спинами двух мрачного вида дядей, не пошевелившихся с начала выступления лектора.

– Хорошо! – Голос Гирина неожиданно загремел. – Тогда условимся, что вы меня не перебиваете, каким бы странным вам ни показалось сказанное. А потом я к вашим услугам, спрашивайте, сомневайтесь, критикуйте.

Итак, наш организм может отталкиваться только от чего-то вполне реального, стоять на материальной почве. Вот вы, художники, постоянно сравниваете, скажем, относительные длины линий на глаз, а как вы это делаете? – В наступившем молчании Гирин продолжал: – Я задал вопрос не для того, чтобы унижить вас, упрекнуть в незнании и показать свою

мудрость. Мало людей представляет себе истинный механизм такого, казалось бы, простого процесса, как сравнение двух линий. Мы поворачиваем наши глаза, пробегая ими сначала по одной линии, потом по другой. Более длинная линия потребует более продолжительного поворота глаз. В мышцах, движущих глаз, накопится больше молочной кислоты – токсина усталости, а это на основании опыта нашего мозга и нервной системы даст впечатление относительно большей длины. Точность тут поразительная, потому что разница в количестве токсина усталости будет ничтожнейшая – буквально чуть ли не в несколько молекул. Но в то же время это совершенно материальная основа, использующая химический процесс работы мышц тела.

Человек из всего мира высших животных отличается наиболее развитым чувством формы, соразмерять и ощущать которую помогают указанные мышцы глаза. Это чувство использовано природой для выполнения важнейшей задачи – взаимного привлечения разных полов. У древнейших наземных позвоночных – пресмыкающихся – и родственных им птиц основным чувством было зрение, острота которого у них иногда поразительна: грифы с высоты видят лежащую на равнине падаль почти за сто километров. Очень зорки крокодилы и даже маленькие ящерицы, вообще все ящерицеобразные – зауропсиды, как называют их зоологи. И вот пестрота чешуй, перьев, самая причудливая раскраска или тончайшие оттенки цветов составляют у зауропсид сигналы распознавания, отличия и приманки. У птиц, с их более развитым, чем у пресмыкающихся, мозгом, красочный наряд самца зачаровывает самку и покоряет ее. Чем выше интеллект, тем более сильные средства надо применить, чтобы заставить особи разных полов, и главным образом самку, подчиниться требованиям природы. Определенная гамма цветов просто гипнотизирует чувствительное к этому животное.

Пройдем выше по лестнице эволюции. У высших позвоночных – млекопитающих, к которым принадлежим и мы, главным чувством стало обоняние – это ведущее чувство у зверей, хотя и зрение стоит у них довольно высоко в ряду восприятий внешнего мира. Запах – вот главное средство привлечения и очарования разных полов у зверей. Человек, с его более слабым обонянием, возместил недостаток этого чувства предметным, бинокулярным зрением, остро воспринимающим глубину и форму. Сходным зрением обладают многие хищники и обезьяны: чтобы скакать с ветки на ветку на страшной высоте, надо видеть очень точно – так же как и при преследовании добычи. Высокая психическая мощь мозга человека еще больше обострила предметность зрения. Чувство формы стало у нас очень важным ощущением, и это немедленно использовала природа для той же великой задачи продолжения рода. Остро чувствуя форму, кроме цветов, звуков и запахов, мы получили всю гамму ощущений, из которых складывается восприятие красоты. И вот, использовав чувство формы для влечения полов, природа необходимо должна была обеспечить автоматическую правильность выбора, закодировав в форме, красках, звуках и запахах восприятие наиболее совершенного. Тогда предок человека, стоя еще на очень низкой, звериной ступени развития, стал правильно выбирать лучших жен или мужей. Половой отбор стал действовать не только интенсивнее, но и в верном направлении, – словом, все пошло как надо для быстрого восхождения по лестнице исторического развития, все большего совершенствования организма. Потом, когда мы стали мыслить, этот инстинктивный выбор, закодированный так, что он радует нас, и стал чувством красоты, эстетическим наслаждением. А на самом деле это опыт, накопленный в миллионах поколений при определении того, что совершенно, что устроено анатомически правильно, наилучше отвечает своему рабочему, функциональному назначению... Механизм – да! Но в этом механизме длительное историческое развитие заложило программу неизбежного совершенствования, восхождения к лучшему. Вот почему прекрасное имеет столь важное для человека значение.

Решительно все виды чувств, доставляющие нам ощущение красоты, в своей основе имеют важное и благоприятное для нашего организма значение, будь то сочетание звуков, красок или запахов. Что линии, которые мы воспринимаем красивыми, гармоническими, построены по строгим математическим закономерностям, – это уже бесспорно. Дальнейшее же раскрытие тайн красоты зависит от точных физических исследований процессов, совершающихся в нашем организме. Но я не буду отвлекаться на то, что еще должно быть сделано, – это целое море интереснейших и загадочных явлений, – а ограничусь разбором примеров красоты человека, физического совершенства его тела.

– Неужели все так просто – только анатомическая целесообразность? – вырвалось у красивой золотистой блондинки с черными бровями, сидевшей недалеко от кафедры.

– Вы правы, – ответил ей Гирин, – совсем не просто. Это лишь фундаментальные, скелетные основы восприятия, на которых строится вся запутанная гамма нашей психологии и личных вкусов, зависящих уже от индивидуальной структуры, темперамента и опыта. Но надо начинать с этих основ и, найдя в них конец нити, постепенно, осторожно и медленно распутывать весь клубок. В этом без помощи художников обойтись немислимо.

– Но ведь художники издавна занимались познанием законов красоты, и я не понимаю, о чем вы говорите, – раздраженно перебил человек с бородкой.

– Что ж, тогда я не сумел ничего объяснить, – с едва заметной насмешкой отозвался Гирин. – Жаль, что я не подчеркнул с самого начала, что за все тысячелетия существования изобразительного искусства не было ни единой действительно научной попытки объяснить чувство красоты. Каноны, измерения, куча немецких псевдонаучных, лжеантропологических книг, жонглирование словами «объемы, соотношения, каноны» у искусствоведов, переводивших язык искусства в рационалистические понятия. Пропорции человеческого тела тысячекратно измерены одним ученым аббатом в семнадцатом веке. Нельзя не склонить голову перед титаническими усилиями понять красоту в Древней Индии, древней и новой Европе, Китае, Японии! Но нельзя и не видеть всей безрезультатности этих попыток, потому что объяснение искали вне человека. Теперь уже совершенно ясно, что ощущения красоты заложены в глубинах нашего существа. Надо идти дальше и установить причинные закономерности, по которым определенные формы, линии, краски отражаются в нашем сознании «красой ненаглядной». И если говорить о человеческой красоте, то никак нельзя отрывать ее от чувства страсти, потому что ее первоначальная цель – это компас в поиске совершенного, наилучшего для продолжения рода? Однако рассмотрение, даже самое поверхностное, великой сложности строения человека увело бы нас далеко. Вернемся к наиболее простому.

Каковы общие отправные точки нашего заключения: человек этот красив? Блестящая, гладкая и плотная кожа, густые волосы, ясные, чистые глаза, яркие губы. Но ведь это прямые показатели общего здоровья, хорошего обмена веществ, отличной жизнедеятельности. Красива прямая осанка, распрямленные плечи, внимательный взгляд, высокая посадка головы – мы называем ее гордой. Это признаки активности, энергии, хорошо развитого и находящегося в постоянном действии или тренировке тела – алертности, как сказали бы физиологи. Недаром актеров, особенно киноактрис, танцовщиц, манекенщиц, – всех, для кого важно их женское или мужское очарование, специально обучают ходить, стоять или сидеть в алертной, мы в просторечии скажем – подтянутой позе. Недаром военные выгодно отличаются от нас, штатских, спортсменов, своей подтянутостью, быстротой движений. Скажу больше. Обращали ли вы внимание, в каких позах животные – собаки, лошади, кошки – становятся особенно красивы? В моменты высшей алертности, когда животное высоко приподнимается на передних ногах, настораживает уши, напрягает мускулы. Почему? Потому, что в такие моменты наиболее резко выступают признаки активной энергии тела! Неспроста древние греки считали удачными изображения своих богов лишь в том случае, если ваятелю удавался энтазис – то серьезное, внимательное, напряженное выражение – основной признак

божества. Вспомните великолепную голову Афины Лемнии – в ней alertность или энтазис может служить образцом для всех остальных скульптур.

Итак, тугая пружина энергии, скрученная нелегкими условиями жизни, в живом теле человека воспринимается нами как прекрасное, привлекает нас и тем самым выполняет поставленную природой задачу соединения наиболее пригодных для борьбы за существование особей, обеспечивая правильный выбор. Таково биологическое значение чувства красоты, игравшего первостепенную роль в диком состоянии человека и продолжающееся в цивилизованной жизни.

Идеально здоровый человек не испытывает потребностей сморкаться или плевать и обладает лишь слабым собственным запахом. Излишне пояснять, какое большое значение имела такая отличная химическая балансировка организма в дикой жизни, когда человека выслеживали хищники или он сам подкрадывался к добыче.

Но это лишь первая ступень красоты, хотя и основная. Пойдем дальше. Что безусловно красиво у человека вне всяких наслоений индивидуальных вкусов, культуры или исключительных расовых отклонений? Скажем, большие глаза и притом широко расставленные, не слишком выпуклые и не чересчур впалые. Чем больше глаза, тем больше поверхность сетчатки, тем лучше зрение. Чем шире расставлены глаза, тем больше стереоскопичность зрения, глубина планов. Насколько ценилась испокон веков широкая расстановка глаз, показывает очень древний миф о красавице, дочери финикийского царя Европе. Ее имя по-древнегречески означает или «широколицая» («широковзорная») или «широкоглазая».

Положение глаз в глазных впадинах говорит о состоянии окружающих тканей и точности гормональной регулировки организма: очевидно, что среднее их положение во впадинах – наилучшее. Красивы ровные, плотно посаженные зубы, изогнутые правильной дугой, – такая зубная дуга отличается наибольшей механической прочностью при разгрызании твердой растительной пищи или сырого мяса. Красивы длинные ресницы – они лучше защищают глаз. Нам кажутся они изящнее, если изогнуты вверх, – ощущение верно, потому что отогнутые вверх кончики не дают ресницам слипаться или смерзаться.

Анатомическое чутье, заложенное в нас, очень тонко. Подсознательно мы сразу отличаем и воспринимаем как красоту черты, противоположные для равных полов, но никогда не ошибаемся, какому из полов что нужно. Выпуклые, сильно выступающие под кожей мышцы красивы для мужчины, но для женщины мы это не считаем достоинством. Почему? Да потому, что нормально сложенная здоровая женщина всегда имеет более развитый жировой слой, чем мужчина. Это хорошо известно, но так ли уж всем понятно, что это не более как резервный месячный запас пищи на случай внезапного голода, когда женщина вынашивает или кормит ребенка? Попутно заметьте, где на теле женщины располагаются эти подкожные пищевые запасы? В нижней части живота и области вокруг таза – следовательно, эта резервная пища одновременно служит тепловой и противоударной изоляцией для носимого в чреве ребенка. И в то же время этот подкожный слой создает мягкие линии женского тела – самого прекрасного создания природы.

Еще пример. Стройная длинная шея немало прибавляет к красоте женщины, но у мужчины она воспринимается вовсе не так – скорее как нечто слегка болезненное. Шея мужчины должна быть некой средней длины и достаточно толстой для прочной поддержки головы в бою, для несения тяжестей. Женщина по своей древней природе – страж, а ее длинная шея дает большую гибкость, быстроту движений головы, – снова эстетическое чувство совпадает с целесообразностью. Наконец, одна из главных противоположностей полов – широкие бедра прямо безобразны у мужчины и составляют одну из наиболее красивых черт женского тела.

– Это в домостроевское время, старо! Теперь все изменилось, что и доказывает вашу неправоту. Нет вечных канонов красоты! – бесцеремонно перебила женщина с тягучими движениями и словами, та, которая спросила: «Зачем?»

– О-о! Я ожидал подобных возражений. Действительно, в истории человечества было немало периодов, когда здоровые идеалы красоты временно заменялись нездоровыми. Подчеркиваю: я имею в виду только здоровый идеал, канон, называйте его как хотите, – в природе никакого иного быть не могло. Да и во всех культурах в эпоху их наибольшего расцвета и благоденствия идеалом красоты было здоровое, может быть, с нашей современной точки зрения, и чересчур здоровое тело. Таковы, например, женщины, которых породили матриархатные общества Крита и протоиндийской, дравидийской цивилизации, древняя и средневековая Индия. Интересно, что у нас в Европе в Средние века художники, впервые изображавшие обнаженное тело, писали женщин-рахитичек с резко выраженными признаками этой болезни: вытянуто-высоких, узкобедрых, малогрудых, с отвислыми животами и выпуклыми лбами. И не мудрено – им служили моделями запертые в феодальных городах женщины, почти не видевшие солнца, лишенные достаточного количества витаминов в пище. Поредение волос и частое облысение, отодвигание назад границы волос на лбу даже вызвало моду, продержавшуюся более двух столетий. Стараясь походить на самую рахитичную городскую аристократию, женщины выбривали себе волосы надо лбом. Они все одинаковы, эти патологические, трагические фигуры Ев, «святых» Ариадн и богинь пятнадцатого века на картинах Ван-Эйка, Бурдиньона, Ван-Геса, де Лимбурга, Мемлинга, Иеронима Босха, Дюрера, Луки Кранаха, Николая Дейтша и многих других. Ранние итальянцы, вроде Джотто и Беллини, писали своих красавиц в кавычках с таких же моделей, и даже великий Сандро Боттичелли взял моделью своей Венеры типичную горожанку – рахитичную и туберкулезную. Позднее итальянцы обратились к моделям, происходившим из сельских или приморских здоровых местностей, и результаты вам известны лучше, чем мне. Интересно, что печать ослабления здоровья в городских условиях жизни лежит уже на некоторых фигурах позднейших римских фресок – те же, более слабые в солнечном климате следы рахита, нехватки витаминов, отсутствия физической работы.

Насколько глубоко непонимание истинно прекрасного, можно видеть в известном стихотворении Дмитрия Кедрина «Красота»: «Эти гордые лбы винчианских мадонн я встречал не однажды у русских крестьянок...» Загипнотизированный авторитетом великих мастеров Возрождения, наш поэт считает выпуклые, рахитичные лбы «гордыми». Находя их у заморенных работой и голодом русских женщин прошлого, что, в общем-то, вполне естественно для плохих условий жизни, он проводит знак равенства между мадоннами и ими. А по-нашему, врачебному, чем меньше будет таких «мадонн», тем лучше.

В нашем веке начинается возвращение к этим канонам – ярко выраженные рахитички составляют темы живописаний Мюнха, Матисса, Пикассо, Ван-Донгена и иже с ними. Мода современности ведет к признанию красоты в удлинённом, как бы вытянутом теле человека, особенно женщины, – явно городском, хрупком, слабом, не приспособленном к физической работе, успешному деторождению и обладающем малыми резервами сил. И опять появляются «гордые» рахитические лбы, непомерно высокие от отступающих назад жидковатых волос, некрасиво выпуклые, с вогнутой, вдавленной под лоб переносицей. И опять идеальный женский рост в 157–160 сантиметров сменяется «городским» в 170–175, как бы специально для контраста со странами, где у бедно живущих народов «экономный» женский рост в среднем около 150 сантиметров.

– Словом, у вас древние вкусы! – съязвила та же женщина.

– Я не говорю здесь ничего о вкусах и не могу обсуждать, правильны они или нет. Безусловно, появление множества женщин городского, нетренированного облика, не делавших никогда долгой и трудной физической работы, должно оказать влияние на вкусы нашего вре-

мени. Разве их можно назвать неправильными для настоящего момента? Однако они будут неправильны с точки зрения наибольшего здоровья, мощи и энергии, на какую, так сказать, рассчитан человек. В связи с этим поговорим еще немного о широких бедрах, не имея в виду их красоту, хотя древние эллины, обращаясь к женщинам, частенько восклицали: «Красуйтесь бедрами!»

Процесс рождения ребенка у человека более труден, чем у животных, и ведет к более резкому различию полов. Налицо крупное противоречие.

Вертикальная походка человека требует максимального сближения головок бедренных костей – этим облегчается бег, равновесие и обеспечивается выносливая ходьба. Но человек рождается с огромной круглой головой, и процесс рождения требует широкого таза с раздвинутыми бедренными суставами. Проклятие Евы, так умело использованное религией, – «в муках будешь рожать детей своих» – существует на самом деле: процесс родов у человека более мучителен и болезнен, чем у животных. В истории развития человека это противоречие возрастало – увеличение мозга требовало расширения таза матери, а вертикальная походка – сужения таза. Разрешением этого противоречия частично явились роднички – незаросшие области на темени ребенка. В момент прохождения через нижнее отверстие таза кости свода черепа ребенка заходят одна на другую, череп сдавливается, и голова приобретает характерную удлинненную форму, впоследствии исправляющуюся. Но мало и этого. Человек рождается абсолютно беспомощным и требует продолжительного кормления материнским молоком, дольше, чем все животные. Из сравнения развития человека и слона – животного, наиболее сходного с ним по долголетию и всем этапам роста, можно думать, что человек рождается недоноском и что нормальный срок для беременности у человека должен быть того же порядка, как у слонихи, носящей детеныша 22 месяца. Очевидно, что за такой срок ребенок стал бы значительно больше и его огромная голова обязательно погубила бы мать. И тут пришло на помощь особое биологическое приспособление – возвращение к стадии низших млекопитающих – сумчатых, рождающих недоношенных детенышей. Только у человека вместо сумки – интеллигентность, самоотверженность и нежность матери.

А для того чтобы нанести наименьшие повреждения мозгу ребенка, так же как и для того, чтобы выносить его в наилучшем состоянии, мать должна быть широкобедрой. В то же время спутница жизни дикого человека, много бегающая, носящая подолгу добычу, да и ребят за собой, в процессе отбора становится узкобедрой, часто гибнет при родах, рождает ребят менее жизнеспособных. Живущие в наихудших условиях представители человечества – дикие охотники Австралии, пигмеи, многие лесные племена Южной Америки – могут служить примером. Как только люди стали жить более оседло – еще в пещерах Южной Европы, Северной Африки, Азии, – начался отбор могучих широкобедрых матерей, давших человечеству тех его представителей, которые по праву заслужили название хомо сапиенс – человека мудрого. Это происходило во всех частях света, от Японии до Англии – в удобной для жизни средиземноморской полосе, когда обилие животной и растительной пищи, а также изобретение копья и дротика превратили человека из бездомного бродяги в обитателя крепкого жилища.

Так, в инстинктивном понимании красоты запечатлелось это требование продолжения рода, слившееся, разумеется, с эротическим восприятием подруги, которая сильна и не будет искалечена первыми же родами, которая даст потомство победителей темного необозримого царства зверей, как море – окружавшего наших предков. И что бы там ни говорили законодатели мод и выдумщики всяческих оригинальностей, когда вам, художникам, надо написать образ женщины-обольстительницы, покорительницы мужчин, в серьезном или шутовском, бидstrupовском, оформлении, – кого же вы рисуете, как не крутобедрую, высокогрудую

женщину с осиной талией? Заметим, кстати, что тонкая, гибкая талия есть анатомическая компенсация широких бедер для подвижности и гибкости всего тела.

Для мужчин тонкая талия, увы, противопоказана, если они хотят быть действительно мужчинами, могучими и выносливыми, как древние эллины. Я уже говорил, что тело человека не имеет скелетной компенсации позвоночнику спереди. Поэтому, для того чтобы носить тяжести, поднимать их, быть выносливым (вспомните об особенностях мужского дыхания), на передней поверхности тела, между ребрами и тазом, должна быть толстая и крепкая мышечная стенка, да что там, целая стена, сантиметров в пять толщиной, как на греческих статуях. Не меньшей мощности пластины нужны и на боковых сторонах – косые брюшные мышцы. Тут уж не до гибкой талии, в этом месте мужчина становится шире, чем в бедрах, зато приобретает великую мощь.

А у женщин важнее совсем другие, не поверхностные, а внутренние мышцы, способные в прочной чаше удерживать внутренности при огромной дополнительной нагрузке – ребенке. Помните, все это не для города и даже не для деревни. Создавалось оно в дикой жизни, полной огромного напряжения. Поэтому широкий и крепкий лист поперечной брюшной мышцы стягивает талию глубже косых мышц, до самого лобка, низко поддерживая мышечную чашу живота с помощью еще и пирамидальной мышцы, которая, будучи сильно развита, дает тот плоский живот, о котором мечтают красавицы. Я думаю, что мускульная анатомия вам известна. Упомяну еще, что у хорошо танцующих женщин наиболее сильно развиты средняя и маленькая ягодичные мышцы, а в самой глубине – грушевидная и подвздошно-поясничная. Все они заполняют впадину над вертлугом и дают выпуклую, «амфорную», линию крутых бедер. Можно прибавить развитие самого верхнего конца портняжной мышцы и мышцы, натягивающей широкую фасцию. Если проанализировать мускулатуру превосходно развитых танцовщиц, конькобежек и гимнасток, то мы увидим несколько иное, чем у мужчин, усиление самых верхних частей аддукторов бедренных мышц. Посмотрите на фигуры здоровых, привычных к разнообразному труду деревенских девушек, и вы увидите, что и тут наше эстетическое чувство безошибочно отмечает наивысшую целесообразность.

Вот мы и разобрали вторую главную ступень красоты – гармоническое разрешение, казалось бы, губительных противоречий, разрешение, доведенное до той единственной совершенной возможности, которая, как лезвие бритвы, как острие стрелки, качается между противоположностями. Путь нашего познания прекрасного, поисков его везде и всюду, видимо, лежит через поиски этой тонкой линии, сформировавшейся за долгую историю и означающей совершенство в многостороннем преодолении величайших затруднений существования в природе живого мыслящего существа – человека. Позвольте на этом закончить!

Короткое молчание всего зала, и сначала с последних скамей, затем и отовсюду раздались аплодисменты, зал одобрительно загудел, послышались голоса: «Очень интересно!», «Спасибо, доктор!». Гирин поклонился и, сойдя с кафедры, оказался окруженным плотным кольцом молодежи. Сима, хотевшая подойти к Гирину, была вынуждена стать в стороне и издали прислушиваться.

Человек с короткой бородкой энергично напирал на Гирина, и только огромный рост выручал его от опасности оказаться затертым возбужденными художниками.

– Давно, вы были в ту пору мальчиком, – почти кричал человек с бородкой, – в Ленинграде был такой профессор – биолог Немилов! Он написал книжку «Биологическая трагедия женщины», доказывая, что рок деторождения так тяготеет над ней, что она никогда не поднимется до мужчины. Нет ли во всех ваших высказываниях некоторого э... э... влияния Немилова?

– Судите сами. Никакой трагедии у женщины я не вижу. Наоборот, во многом мы, мужчины, можем ей позавидовать. Разность полов существует совершенно реально, и с ней нельзя не считаться – вот тут и есть корень всех недоразумений. Не надо требовать от женщины того, чего она не может или что ей вредно, а во всем остальном она вряд ли уступит мужчине в наше время, когда ей открыты сотни профессий, и в том числе наука. Надо объяснить нашей молодежи реальную разницу между женщиной и мужчиной – об этом мы как-то забыли или были принуждены трудностями индустриализации, потом войны.

– Если я правильно вас поняла, – спросила седовласая женщина в больших очках, – эстетическое удовольствие, чувство красоты сильнее от женского тела у мужчины, чем у женщины – от мужского?

– Это правильно, и причина заключается в некотором различии воздействия половых гормонов на психику у мужчин, действующих порывами, импульсно, чрезвычайно обостряя восприятие всего, что связано с полом, следовательно, и красоты. Вопрос еще мало изучен, но, в общем-то, очевидно, что вся гормональная деятельность – вещь очень серьезная для психофизиологической структуры человека, и пренебрегать ею никак нельзя. Могучий половой тормоз – мозг, в природе стимулирующий естественную лень самца и сопротивление самки, у человека уравновешен очень сильной половой системой, еще более усиленной памятью и воображением. Человек обладает таким количеством половых гормонов, какого нет ни у одного животного. Они подавляют естественный протест интеллекта, по-иному поворачивают психическую настройку. Известно, что количество половых гормонов очень важно для энергетического тонуса организма, как, например, насыщение крови кетостеронами. Жизненно необходимо исследовать это и научиться переключать энергию гормонов на другие стороны жизнедеятельности и в то же время не утрачивать всей великой привлекательности и счастья половой любви.

– А вот вопрос, который ставит под сомнение все ваши не лишённые остроумия доводы, – вызывающе сказала художница, все время старавшаяся уязвить Гирина. С уверенностью испытанной обольстительницы она выставила стройную ногу, изящно обутую в босоножку на высокой шпильке. – Женщины всего мира, – продолжала она, – при всех модах и вкусах исправляют вашу премудрую природу обувью на высоких каблуках. И попробуйте отрицать, что это менее красиво, чем ходьба босиком!

– И не попробую, потому что в самом деле красивее, – весело ответил Гирин. – Однако следует понять: почему? Что вы можете сказать, кроме того, что каблуки удлиняют ногу и делают маленькую женщину выше? Но ведь и высокие выглядят лучше на каблуках. Почему же так важно это удлинение ног? Не просто удлинение, а изменение пропорции ноги – вот в чем суть каблука. Удлиняется голень, которая становится значительно длиннее бедра. Такое соотношение голени и бедра есть приспособление к бегу, быстрому, легкому и долгому, то есть успешной охоте. Оно было у древнейших представителей нашего вида кроманьонской расы, оно сейчас есть у некоторых африканских племен. Наше эстетическое восприятие каблука доказывает, что мы происходим от древних бегунов и охотников, обитателей скал, – это подсознательное воспоминание о совершенстве в беге. Добавлю, что каблуки придают вашей ноге крутой подъем. Тут эстетика прямо, а не косвенно сходится с необходимостью высокого подъема для легкой походки и неутомимости. Все обладатели крутых подъемов знают, насколько они экономнее в носке обуви, чем люди с обычной или плосковатой стопой.

– Значит, мы испортились с древних времен? – не унималась длинноногая художница.

– Ничуть, хотя колебания в общих пропорциях у разных народов довольно значительны. Если мы как следует займемся собой, то быстро превратимся в кроманьонцев. Ничего из той наследственности, которую приобрели далекие предки, еще не утрачено. Вот свидетельство тому: как только человек длительное время живет в суровых условиях,

но при обилии пищи и здоровом климате, он превращается в высокорослого, с мощной мускулатурой и более длинными ногами. Такими среди населения старой России были старoverы, некоторые казаки, поморы. И обратный процесс – неблагоприятные условия жизни, питания, вынашивания и выкармливания детей так же быстро снижают рост и физическую силу и, что очень интересно, приводят к укорачиванию ног, являющемуся компенсацией за утрату части жизненной мощи, без которой длинные ноги не нужны. Затрачивая слишком много энергии на бег, организм быстро срабатается и долго не проживет.

– А длинные косы у женщин? – спросил кто-то из-за спины Гирина.

– Уже отмирающее эстетическое ощущение, уходящее потому, что десятки тысячелетий человек пользуется одеждой. Длинные волосы закреплялись в нашем чувстве прекрасного тогда, когда люди в теплую межледниковую эпоху еще не знали одежды. Возможность прикрыть маленького ребенка от ночного холода у своей груди, защитить от непогоды – вот смысл длинных волос и их значение для выбора лучшей матери.

– А почему красивее считается прямой нос? Не все ли равно?

– Прямой нос – прямой ход для вдыхаемого воздуха. Для нас, европейцев, северных людей, характерна высокая переносица и высокое небо – воздух проходит в горло по крутой дуге и лучше обогревается. Но все это надо еще исследовать. Действительно ли узкие глаза монголоидов – это приспособление к богатому ультрафиолетовыми лучами свету в горах и высокогорных пустынях? Много есть подобных вопросов, которыми вместо расовой демагогии давно должна бы заниматься антропология. Но функциональной антропологии пока еще нет, и мы можем лишь догадываться, какие важные причины сформировали расовые особенности. Кстати, большинство расовых признаков, отвечающих опять же анатомической функциональной целесообразности, не кажутся нам чуждыми и вызывают в общем те же эстетические ассоциации. Все дело в том, что мы, люди вида сапиенс, безусловные сестры и братья по самому настоящему родству. Всего пятьдесят тысячелетий назад нас была лишь горсточка, и эта горсточка породила все великое разнообразие народов, племен, языков, иногда воображавших себя единственными, избранными представителями рода человеческого.

– А все-таки это страшно, – вдруг сказала красивая блондинка с черными бровями, смотревшая на Гирина, как на злого вестника. – Все наши представления о прекрасном, мечты и создания искусства... и вдруг так просто – для детей, для простой жизни!

– Простая жизнь? Ее нет, мы только по невежеству думаем, что она проста, и постоянно расплачиваемся за это. Очень сложна, трудна и интересна жизнь! Но не понимаю, отчего вам страшно? Оттого, что станет понятно, в чем суть прелести ваших красивых бровей? Брови, назначение которых отводить в сторону пот, стекающий со лба, и не давать ему заливать глаза, должны быть густыми. И при густоте они не должны быть чересчур широкими, чтобы в них не скапливалась грязь, не заводились паразиты. Вот секрет красоты ваших соболиных, узких и густых бровей.

Под необидный смех окружающих блондинка прикрыла лицо рукой. Гирин продолжал:

– Но это лишь грубая основа нашего понимания причинности тех или других эстетических ощущений. А по этой основе миллионы лет будет плестись прелестный узор очарования синих, серых, зеленых и карих глаз, всевозможных оттенков волос, кожи, очертаний губ и всех других мыслимых комбинаций, число которых не меньше количества атомов в Солнечной системе. Так что же вас страшит?

Блондинка умолкла, но тут к Гирину пробился широкоплечий юноша, давно уже не сводивший с него глаз:

– Можно вас попросить рассказать еще какой-нибудь пример противоречия в строении человека... такого, исторически сложившегося?

– Я боюсь задержать присутствующих. Лучше приходите ко мне, и мы побеседуем. Юноша нервно тербил записную книжку.

– Если можно – сейчас. Я должен рассказать своим ребятам сегодня же...

– Хорошо, – уступил Гири́н. – Вертикальное положение тела человека целиком перенесло вес его передней части, ставшей верхней, на позвоночный столб. Позвонки, особенно поясничные, стали нести вертикальную нагрузку, очень сильную при носке и подъеме тяжестей. В результате одно из наиболее характерных заболеваний человека – всякие болезненные изменения в поясничных позвонках, например, так называемый спондилоз, не говоря уже о болях в пояснице и радикулитах, одолевающих почти каждого человека к старости. Интересно, что такими же заболеваниями страдали вымершие саблезубые тигры – они одни могли посочувствовать человеку. У тех беда пришла в результате развития громадных сабельных клыков в верхней челюсти, удары которых, очевидно, давали очень сильную нагрузку на позвоночный столб, в этом случае не вертикальную, а горизонтальную, но действовавшую также по оси позвоночника. И вот среди сотен скелетов саблезубов, раскопанных в асфальтовых лужах Ранчо ла Бреа в Калифорнии, очень многие имеют признаки спондилоза.

– А чем же компенсировалось это противоречие?

– Развитием мышц брюшного пресса, вместе с лестничными межреберными мускулами, дающими дополнительную поддержку туловищу. Наибольшим развитием этих мышц, судя по статуям, отличались древнегреческие атлеты. Вспомним хотя бы лисипповского «Апоксиомена» или особенно поликлетовского «Копьеносца». Человек обязательно должен развивать эти мускулы – они жизненно важны во всех случаях.

– Вряд ли возможно сопоставлять древнего и современного человека, – сказал тот, ученого вида старик, который вспоминал Немилова. – Прежде всего у нас гораздо больше нервного напряжения, стрессов, чем в первобытной жизни. Отсюда нужно думать, что прежние каноны физической силы и выносливости сегодня неприменимы. Нужна крепкая нервная организация – это главное.

– Вы сделали сразу две крупные ошибки. Начну со второй, она проще, – возразил Гири́н. – Крепкая нервная организация может быть только на основе полного здоровья, физической крепости и выносливости всего тела. Хилое тело, подвергнутое нервному напряжению, сразу же даст шизоидный комплекс психики. Что касается первобытных людей, живших в постоянной и смертельной опасности, в длительном напряжении охоты и поисков пищи, то их организм выработал способность отдавать сразу огромное количество адреналина для мгновенной форсировки мышечно-двигательной системы. Сильнейшие нервные стрессы, какие случаются у современных людей, кроме войны, всего несколько раз в жизни, заставляли наших предков жить в alertности, напряжении всего тела, расходуя всю пищу, какую только мог потребить организм. Никаких холестеринавых накоплений, склероза или инфаркта. Мы унаследовали отличную боевую машину, приспособленную для битв с могучими зверями, и сетуем, что она может своими стрессами погубить наши вялые, не тренированные как надо тела. Я не имею в виду спортивные тренировки – они пока что истощают ресурсы тела. Индийская йога учит накапливать эти ресурсы, но мы еще не взяли ее за образец и не приспособили к нашим нуждам. Вот вам еще пример. Частыми заболеваниями у человека, обязанными не инфекциям и не травмам, являются подагра, отложение солей в суставах, а также образование камней в почках и мочевом пузыре. Это отложение мочевой кислоты, малорастворимого азотистого соединения. В крови почти всех животных, за исключением обезьян и человека, есть особый фермент – уретаза, переводящий мочевую кислоту в растворимую мочеви́ну. Как случилось, что уретаза отсутствует у человека? Можно догадываться, что мочевая кислота, принадлежащая к группе пуринов, к которым относится и кофеин, является стимулятором нервной деятельности. Когда мозг стал

ведущим приспособлением в жизни, обезьяне и человеку потребовалось держать нервную систему в постоянной алертности, возбуждении, и это было достигнуто упразднением уретазы. Избыток мочевой кислоты дал необходимую стимуляцию, но за это пришлось расплатиться. Мать-природа ничего не дает своим детям без того, чтобы что-то не взять взамен, – этот важнейший закон мы, защищенные цивилизованными условиями жизни, плохо понимаем.

– Довольно! – Самоуверенный щеголеватый человек не очень вежливо отпихнул в сторону юношу с блокнотом. – Нельзя занимать доктора Гирина так долго. У всех еще много вопросов. Как понимать, доктор, что нам доставляют эстетическое удовольствие абстрактные комбинации линий, форм, красок? В какой мере это связано с восприятиями, о которых вы нам рассказывали?

– Ни в какой. Я взял одну лишь часть нашего чувства прекрасного, отнюдь не пытаюсь охватить всю его широту. И я предупредил, что речь будет лишь о восприятии красоты человеческого тела.

– Простите, я запоздал к началу. Но все же, какого вы мнения об абстрактных произведениях искусства? Ведь не будете же вы отрицать их определенное эстетическое воздействие.

– Конечно, не буду. Но мне, подчеркиваю, что я говорю лишь как биолог и психолог, кажется, что сущность воздействия абстрактных вещей в том, что они являются памятными знаками. То есть опорными, отправными точками памяти, какими для нас часто являются запахи.

– Ага, идешь по улице, и вдруг потянет дымком, и сразу целая картина в голове...

– Вы совершенно точно пояснили сущность памятного знака. А знаков может быть великое множество. Часть из них относится к той же подсознательной памяти поколений. Например, вид огня, цвет меда, шум бегущей воды. А еще больше знаков – бессознательных заметок – накапливается опытом индивидуальной жизни, иногда вне анализа с детства.

– Позвольте спросить, – визгливым голосом перебила еще одна художница. – Значит, наше восприятие прекрасного в человеческом теле настроено, так сказать, на молодость. Верно?

– Совершенно верно!

– А что же делать пожилым? – Вопрос прозвучал невпопад, но от всей души.

– Подольше оставаться молодыми, – улыбнулся Гирин. – Для этого у человека есть все возможности. Юность – привилегия не только возраста. Она в крепости и плотности тканей тела. Особенно важна плотная и гладкая кожа. Все это показатели отличного физического состояния превосходно отрегулированного организма, который вполне может сохраниться до старости удивительно молодым. Правильный и строгий режим жизни, тренировка...

– Режим, тренировка! – презрительно крикнула высоконогая. – А где же свобода и отдых? Человек рожден для счастья, а вы ему – режим!

– Разве я? – протестующе возразил Гирин. – В процессе эволюции человек подвергался суровым испытаниям и вышел из них победителем. Но вторая, обратная, сторона этой победы в том, что его организм рассчитан на испытания и большие нагрузки. Он нуждается в них, и если мы не будем заставлять его работать, даже когда это не требуется городской жизнью, а также не будем устанавливать ему периодами ограничение в пище, неизбежны неполадки и прямые заболевания. Если вы унаследовали от предков, живших здоровой и суровой жизнью, отличный организм, он неизбежно испортится у ваших детей или внуков, коли не заботиться о его нормальной деятельности. А это значит – работа, в том числе и физическая, спорт, пищевой режим. Компенсация за это – красота и здоровье, разве мало? Практически каждый может добиться, чтобы его тело стало красивым, так пластично исправляются наши недостатки, если они еще неглубоки и если мы своевременно позабо-

тимся о них. Пример – перед вами. Оставшись без родителей в Гражданскую войну, я сильно голодал и был порядком заморенным ребенком. А теперь, как видите... – Гирин повел могучими плечами.

Юноша, в очках с толстой черной оправой и сам весь черный и смуглый, ринулся к Гирину из задних рядов.

– Пожалуйста, на минутку! Вы говорили о тонкой границе между двумя противоположными назначениями или процессами и употребили образное сравнение со стрелкой, трепещущей между противоположными знаками. Но ведь тогда математически – это нуль, а красота, как совершенство, тоже математически – нуль. Или, по-другому, красота есть и целесообразность, и жизненная энергия вместе. В ней замкнутая двойственность нуля.

Гирин круто остановился.

– Знаете, это очень глубокая мысль! Право, мне не приходило в голову. Индийские математики, открывшие нуль за много столетий до европейской мысли, считали его абсолютным совершенством, числом, в котором, по их выражению, «двойственность приходит в существование». Красота, как нулевая линия между противоположностями, как линия наиболее верного решения диалектической проблемы, как то, что содержит в себе сразу обе стороны, обе возможности, – очень верная диалектическая формулировка. Вы молодец!

Гирин вытащил маленький блокнот, быстро написал номер телефона, сунул в руку покрасневшему от удовольствия юноше и окончательно повернулся спиной к своим слушателям. Не обращая более ни на кого внимания, он подошел к Симе, и та смутилась, увидев, что общее любопытство перенеслось на нее. Гирин заглянул под опущенные ресницы.

– Если вы не заняты, то пойдемте пешком. Я волнуюсь на выступлениях и теряю зря много нервной энергии.

– А мне иногда казалось, что вы мощны и бесстрастны, как мыслительная машина, – возразила Сима. – Конечно, пойдемте, я свободна целый день.

Улица встретила их дождливым ветром. Сима шла, чуть наклоняя голову и искоса поглядывая на Гирину. Она морщила короткий нос от щекотки дождевых капель, и тогда ее лицо становилось недовольным и лукавым.

Брызги воды поблескивали в густых, круто вьющихся волосах.

– А две ступени красоты не испугали вас? Одна красивая дама... – начал Гирин.

– Заметила. Смотрела на вас, как на Мефистофеля, или по меньшей мере как верующая – на богохульника. Но я испугалась тоже своего незнания. В этом есть что-то устрашающее, как провал.

Гирин рассмеялся, и Сима покраснела.

– Я знаю, что сказала не так. Вам трудно понять, как можно жить так мало понимающей мир и жизнь. И знаете, кого вы мне напомнили? – Сима внезапно сменила свою тихую, почти грустную речь на смешливую интонацию. – Только не будете сердиться?

– Не буду. Только сперва я хочу сказать, что вы не так поняли мой смех. Чувство незнания часто посещает меня, и провалы в образовании мне хорошо знакомы. Да, да, вижу, что не верите, а это так. Ну, на кого я был похож?

– На медведя или кабана, окруженного собаками. Наскакивает одна, молниеносный поворот, клаясь клыков, и псина летит в сторону, вторая – и опять то же.

– Вы любите животных? – смеясь, спросил Гирин. – Вообще или только собак?

– Животных вообще люблю, а собак не всех. Я перестала любить сторожевых псов после фашизма, войны, концлагерей. Это гнусно – злобные псы, травящие, выслеживающие, терзающие людей. Читая об этом или смотря фильмы, я всегда жалела, что человек утратил свою первобытную сноровку, когда ему ничего не стоило разогнать десяток этих мерзких зверей. А что хорошего в свирепых собачищах на некоторых дачах под Москвой? Давящаяся от злобы тварь за забором!

Гирин с любопытством слушал ее энергичную речь. Сима, видимо, когда была очень убежденной, говорила отрывисто.

– Пойдем когда-нибудь в зоопарк. Я люблю бродить там, смотреть на зверей и думать о биологических законах.

– О, пойдёмте, обязательно! Жаль, что плохая погода, а то можно бы сейчас. На троллейбус, и через пять остановок – на Кудринской. Вы, кажется, еще мало знаете Москву?

– Чтобы как следует освоиться в Москве, надо несколько лет, если только не стать шофером. Я не могу отвыкнуть от прямоугольной планировки Ленинграда.

Сима задумчиво посмотрела в затуманенную морозящим дождем даль Садовой, забитой ревущими грузовиками.

– Хотите, пойдёмте ко мне? Я напою вас чаем и ручаюсь за качество. Моя приемная мать была знатоком, от нее узнала я некие тайны заварки.

– Была? – подчеркнул слово Гирин.

– Она умерла в пятьдесят шестом.

– Сколько же вам было лет тогда?

– Двадцать два. Я – 1934 года рождения.

– Никогда бы не думал! Мне казалось, что сейчас вам двадцать два – двадцать три, а я, как профессионал, ошибаюсь редко.

– Ничего не поделаешь – мне двадцать восемь.

– Вы замужем?

Сима повернула лицо к Гирину своим точным и резким движением.

– Вы начинаете неожиданно для меня спускаться с небес на землю!

– И очень хорошо – в небожители не гоюсь. Но все же – почему?

– Замужняя женщина стала бы с вами прогуливаться по улицам, едва познакомившись?

Тем более приглашать к чаю?

– Что ж тут такого?

– С моей точки зрения ничего. Потому и приглашаю. Но я одна. А представьте себе мужа, воспитанного по всем правилам мещанских понятий, что никакая дружба между мужчиной и женщиной невозможна, что если идет пара по улице, то только в совершенно определенных случаях. У нас даже в знаменитой песне поется, что бескорыстна мужская дружба. А женская?

– Знаете, это так, – помолчав, согласился Гирин. – Плохой я психолог.

– Психолог-то вы, наверное, хороший, а вот жаль, что ваша наука так мало занимается моралью и этикой.

– Вы опять правы, Сима, даже не знаете, до какой степени. Так как насчет чаю?

– Пойдёмте. Я живу близко отсюда – вон тот переулок направо.

Они шли молча весь оставшийся путь, время от времени встречаясь глазами. И каждый раз теплый толчок в сердце подтверждал Гирину, как хорошо, что в еще чужом огромном городе живет эта удивительная девушка и ему посчастливилось встретить ее. Удивительная? Казалось бы, ничего необычайного не было в Симе. Величина ее серых глаз? Но ведь не так уж мало большезрачных, хотя такие, как Сима, редкость. Прекрасная фигура? Пожалуй, поклонники моды ее бы забраковали. Комбинация черных волос, серых глаз и очень гладкой, смуглой кожи? Нет, не то... Может быть, самое удивительное и есть эта сумма неброских черт, в целом куда более прекрасная, чем самая эффектная внешность... «Нечего сказать, – внутренне улыбнулся Гирин, – ясное у меня мышление. «Неуловимое совершенство»; вот, может быть, верное определение Симы. Нет, неверно, оно не неуловимое, а очевидное настолько, что, кажется, нет мужчины, да и женщины, которые не провожали бы Симу несколько озадаченным взглядом, сначала не заметив в девушке ничего особенного. Да-а, теоретик красоты запутался. О, нашел! Математическое выражение, то самое, о котором

говорил молодой математик, – «диалектическая двусторонняя гармония, нуль-линия». Сима и «нуль» – это показалось Гирину комичным, и он расплылся в улыбке.

– Что-нибудь вспомнили? – спросила Сима.

– Думал о вас, о привлекательности вообще и вашей в частности. Вашему античному лицу идет решительно все – любая прическа, любая шляпа, кепка. Благодарите за этот дар природу и одевайте что угодно, – сказал Гирин.

– Вы находите, что у меня каменная физиономия греческой статуи? – поморщилась Сима.

– Не может быть худшего заблуждения! – свирепо возразил Гирин. – Я имею в виду древний средиземноморский тип: правильные мелкие черты, твердый очерк подбородка, большое расстояние от глаз до высоких и маленьких ушей, короче, именно ваше лицо. Этот тип впоследствии был изменен на крупные черты, от примеси переднеазиатских и кавказских народностей, но и сейчас нередко проступает, чаще всего в Средиземноморье.

– Какая же привлекательность, если смешно?

– Смешон я, а не привлекательность.

Сима пожала плечами, показав одним этим жестом и непонимание, и легкую насмешливость. Они подошли к старому небольшому особняку с мезонином, стоявшему в тесном дворике с несколькими чахлыми деревцами. Красно-коричневая окраска облезла, местами осыпалась и штукатурка, показывая полусгнившую косую решетку дранки. Маленький дом, вероятно обреченный в недалеком будущем на снос, был не в чести у жилищного хозяйства.

– Ко мне сюда, – смущенно сказала Сима, направляясь к наружной железной лестнице, ведущей на обращенную во двор часть мезонина. Она открыла ключом обитую черной клеенкой дверь.

– Дом неказист, зато я практически живу в отдельной квартире. Снимайте пальто тут. – Сима зажгла свет, и Гирин увидел себя в передней величиной со шкаф. «Практически отдельная квартира» была комнатой под самой крышей. Часть комнаты отделили и превратили в крошечную кухню с отгороженным в углу душем. И все же, по теперешним московским нормам, Сима жила просторно, комната ее была больше гиринской.

Сима усадила гостя на диван и скрылась в кухне. Гирин с любопытством осмотрелся. Ничто так не раскрывает характер человека, как его жилье. Широкая тахта, тяжелый столик из старого темного дуба, жесткий ковер на полу – все было порядком потерто и безукоризненно чисто. Чистота приятно поразила Гирина, потому что, судя по пятнам на потолке от протекающей крыши, комнату нелегко было держать в таком блестящем порядке.

Широкое зеркало в свободном конце жилища и привинченный там же к стене круглый стержень озадачили было Гирина, пока он не вспомнил о художественной гимнастике. Единственной ценной вещью было пианино, раскрытое, с нотами на подставке. На стенах висели две репродукции в простых рамах: одна с акварели Борисова-Мусатова, другая – «Звенигород» Рериха.

Неприкрытая бедность и простота обстановки почему-то тронули Гирина, который сам был спартанцем в отношении вещей. Он встал и, подойдя к пианино, принялся разглядывать ноты. «Элегия» Рахманинова – нежная, звенящая вещь. Незаметно для себя Гирин стал перебирать клавиши. Посыпались пригоршни высоких нот, понижаясь и затихая.

Почувствовав появление Симы, Гирин обернулся. Девушка смотрела на него с радостным удивлением. Ее глаза потемнели и стали еще огромнее. «Как принцесса с Марса», – подумал Гирин и сказал:

– Я больше всего люблю Рахманинова.

– Это не мое, это Риты, – ответила Сима. – Она готовит выступление. «Элегия» хорошо подходит к ее плавным и как бы вьющимся движениям своей напевностью и разливом звуков.

– Рита ваша подруга! О, как я сразу не понял – Рита Андреева! Я давно знаю ее – вернее, ее отца.

– Вот как? Она моя лучшая приятельница, близкий друг.

– Действительно, мир узок. А какая музыка выбрана вами для себя?

– Адажио из балета «Эгле, королева ужей».

– Никогда не видел и не слышал.

– Это новая вещь литовского композитора Бальсиса. Хотите, сыграю, но только потом, чай остынет. Садитесь вон туда. Мне кажется, что вы должны любить крепкий чай?

– Угадали, хоть это и не типично для непутешественника.

– Но вы же воевали? Разве это не путешествие?

– И снова вы правы.

– Вы говорите так, будто скрываете удивление. Почему бы мне не делать логических умозаключений?

«В самом деле, – подумал Гири́н, – почему бы Симе и не делать их?»

Сима налила чай в пестрые чашки и присела на тахту около стула Гирина. Именно присела, хотя Сима и сидела в свободной и спокойной позе, Гирина казалось, что она вот-вот встанет, легко, быстро и резко. Это-то впечатление скрытой готовности, силы и внимания поразило Гирина в первый же момент встречи.

– Положите на полку, пожалуйста, вам будет свободнее на столе, – Сима подала ему две маленькие книжки в белой бумажной обложке.

Около Гирина в углу высилась полка из некрашеного дерева, заполненная множеством книг. Уголкем глаза заглянув туда, Гири́н отметил: «Ни одного полного собрания сочинений». Он взял книжки, показавшиеся знакомыми, и вдруг воскликнул:

– Шкапская, вы ее любите?

– Очень. А вы разве тоже? Странно...

– Почему?

– Стихи ее женские, и многим они кажутся, как бы сказать...

– Знаю. Воспеванием примитивных, чуть ли не животных чувств. Как и всякое враждебное мнение, это утрировано. Мы автоматически утрируем то, что нам не нравится, но мало кто это понимает. Иначе меньше было бы внимания тому худому, что говорят про людей. Не знаю, замечали ли вы, что плохое мнение всегда представляется нам весомее хорошего, хотя бы к тому не было ни малейшего основания. В основе этого лежит тот же психологический эффект, который заставляет нас пугаться неожиданного звука: опасение и настороженность зверя в диком мире или индивидуалиста-собственника в цивилизованном.

– Как интересно, Иван Родионович! Вы объясняете мне то, что я инстинктивно, или называйте это женской интуицией, сама чувствую.

– Женская интуиция и есть инстинктивная оценка мудростью опыта прошлых поколений, потому что у женщины ее больше, чем у мужчины. Это тоже понятно почему – она отвечает за двоих. Но вернемся к Шкапской. Я бы сказал, она отличается научно верным изображением связи поколений, отражения прошлого в настоящем. Как это у нее:

Долгая, трудная, тяжкая лестница,
Многое множество, тьму́щая тьма!
Вся я из вас, не уйдешь, не открестишься, –
Крепкая сложена плотью тюрьма...

– Одно из лучших, – обрадовалась Сима. – Но мне больше нравится гордое, помните:

Но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит,
Стать может голосом и судною трубой!

– Сознание всемогущества матери для будущего. Что ж, скоро оно придет, когда женщина познает свою настоящую силу, и все женщины будут ведьмами.

– Что вы говорите! – рассмеялась Сима, и Гиринов снова залюбовался удивительной правильностью ее зубов.

– Я не шучу. Слово «ведьма» происходит от «ведать» – знать и обозначало женщину, знающую больше других, да еще вооруженную чисто женской интуицией. Ведовство – понимание скрытых чувств и мотивов поступков у людей, качество, вызванное тесной и многогранной связью с природой. Это вовсе не злое и безумное начало в женщине, а пронизательность. Наши предки изменили это понимание благодаря влиянию Запада в Средневековье и христианской религии, взявшей у еврейской дикое, я сказал бы – безумное, расщепление мира на небо и ад и поместившей женщину на адской стороне! А я всегда готов, образно говоря, поднять бокал за ведьм, пронизательных, веселых, сильных духом женщин, равноценных мужчинам!

Сима положила свою теплую, сухую руку на пальцы Гириной:

– Как это хорошо! Вы даже не знаете как!.. – Она вдруг насторожилась и поднялась с тахты, ловко минуя угол стола.

Гиринов тоже услышал быстрые шаги, скорее бег по лестнице. Сима открыла дверь, раздался звонкий поцелуй. Впереди хозяйки в комнату с уверенностью завсегда ворвалась высокая рыжеватая девушка. Увидев гостя, она остановилась от неожиданности.

– Ой, как же так, Иван Родионович? Вы – и вдруг здесь, у Симы. Почему?

– Рита, что ты говоришь? – возмутилась Сима. – По-твоему, получается...

– Ничего не получается, и я, конечно, дура! Просто я давно знаю Ивана Родионовича, и мне папа много рассказывал про него. И вдруг вы... – она смешливо воззрилась на Гиринов, – здесь, у моей Симы. Хи! Хи! Ну не сердись же ты на меня, не прядай ушками. Я-то бежала повозмущаться вместе с моим халифом. Мы ездили всей группой помогать на стройку, и я там разругалась вдрызг. До сих пор вся киплю!

– Сначала сядь. Хочешь чаю?

– Ужас как хочу. Но я вам помешала. – Девушка схватила чайник и выбежала на кухню.

Гиринов посмотрел на часы.

– Вы торопитесь? – Отзвук разочарования мелькнул в вопросе Симы, обрадовав Гиринов.

– За сколько времени можно отсюда добраться до Ленинского проспекта?

– Куда именно? Ленинский проспект очень длинен.

– Третья улица Строителей.

– Пожалуй, не меньше чем минут за сорок.

– Тогда есть еще двадцать минут. Вы обещали мне сыграть «Эгле, королеву ужей».

– Почему она вас заинтересовала?

– Хочется узнать, что вы подобрали для будущего выступления.

Сима послушно села за пианино, развернула ноты. Она играла хорошо, во всяком случае, для дилетантского понимания Гиринов. И сама вещь, неровная, с перебивками мелодии, врывающимися резкими ритмами и печальными певучими отступлениями, очень понравилась ему. Рита, стараясь не шуметь, забралась на тахту и пила чай чашку за чашкой. Оборвалась высокая нота, и Сима повернулась к Гиринову на винтовом стуле. Тот похвалил адажио.

– А я думала, вам не понравится, – сказала с дивана Рита. – Эта вещь современная. Вам должны нравиться больше классические вещи, как большинству людей вашего поколения.

Сима за спиной Гирина покачала головой. Но тот рассмеялся, как и прежде, от всей души.

– Вряд ли вы слышали испанскую поговорку: «Мужчины только притворяются, что любят сухое вино, тонких девушек и музыку Хиндемита». На деле все они предпочитают сладкие вина, полных женщин и музыку Чайковского.

– Действительно, не знала! – фыркнула Рита. – Вы меня озадачили.

– Я сам себя озадачил. Кроме шуток, я очень люблю Чайковского и вообще музыку мелодическую, широкую, напевную, но и ритмическую, смелую тоже. Всегда я считал себя скучным академистом. А на деле оказалось: когда я встречался с хорошим, как принято сейчас выражаться, «модерном», меня всегда тянуло в эту сторону, будь то музыка, живопись, скульптура. Но многие понимают модернизм не так. Под этим словом вместо широкого понятия современности в искусстве нередко подставляют мелкотравчатое фокусничанье во всем: живописи, архитектуре, поэзии. Даже в науку проникают эти струйки убогого самоограничения, попытки с помощью трюка привлечь к себе внимание и тем «пробиться». А ведь фокусничанье было во все времена, только от древности история, естественно, не сохранила этот хлам. В нашем веке прошло несколько волн таких лжемодернизмов с выдумками не хуже, чем сейчас.

– Я понимаю, – сказала Сима.

– Это хорошо, – заявила Рита. – Значит, вам понравится и Сима. Мы с ней две противоположности. И она как раз такая вот четкая, быстрая, вся ритмическая насквозь. Потому и выбрала это адажио. А что вы любите в книгах? Не ваших ученых, а в романах, рассказах?

– Тут я полностью старомоден и не выношу гнильцы, привлекающей любителей дичи с тухлятинкой, заплесневелого сыра, порченных людей и некрасивых поступков. Для меня любое произведение искусства, будь то книга, фильм или живопись, не существует, если в нем нет глубоко прочувствованной природы, красивых женщин и доблестных мужчин...

– И зло обязательно наказано, – радостно захлопала в ладоши Сима, – и добро торжествует! Простите, Иван Родионович, – спохватилась девушка, – мы все говорим, а вам – пора.

– Очень хотел бы остаться, но ждет больной. К больному нельзя опаздывать – такова старая врачебная этика.

– Разве вы практикуете, лечите? – спросила Сима, провожая Гирина в свою шкафообразную переднюю.

– О нет! Без того не хватает времени на исследования. И все же приходится, меня передают по эстафете от одного тяжелобольного к другому. Дело в том, что у меня есть способность к диагностике. А когда мы увидимся?

– Если хотите – завтра. У меня нет телефона, но я могу позвонить. Назначайте время.

На следующий день Гирин опускался по полутемной лестнице в цокольный этаж института с отчетливым ощущением чего-то приятного, что совершится сегодня. Ожидание это не относилось к монотонной череде опытов. Не предстояло никакой интересной научной дискуссии, очередные «жертвы», как называл испытуемых Сергей, могли посетить лабораторию только на будущей неделе. Уже два дня назад он отпустил Верочку для какого-то зачета, а сегодня они с Сергеем приберутся, и... он ждал звонка Симы.

И звонок последовал не вечером, как думал Гирин, а едва он успел приоткрыть тяжелую дверь лаборатории. Голос Симы был неровен, как от сдерживаемого нетерпения. Она очень серьезно спросила Гирина, насколько важны его занятия на этой неделе, и, получив ответ, сказала:

– Сегодня четверг. Могли бы вы освободиться на пятницу и субботу? Поехать со мной?

– Хоть на край света! – пошутил Гирин, но Сима не приняла шутки.

– Я так и знала, поеду одна.

– Ничего вы не знали, – энергично возразил Гирин. – Я в самом деле могу освободить себе два дня и еще воскресенье. Куда и когда ехать?

– Самолет летит ночью, и я сейчас поеду брать билеты. Люблю ездить, летать, плавать ночью, когда все загадочно, необычно и обещающе.

– Однако все же...

– Все же нам надо увидеться, и я буду ждать вас против вашего переулка, у памятника. Вы кончаете в пять, – обычным для нее полувопросом, полуутверждением закончила Сима и повесила трубку.

Гирин, озадаченный и обрадованный, мог только благодарить судьбу за то, что приглашение Симы совпало с некоторым застоем в работе. И к пяти часам он стоял у памятника, отыскивая среди сидевших на скамьях людей черное пальто Симы.

– А вы рыцарь, Иван Родионович, – нежно сказала позади него Сима, – и это тоже хорошо, как ваш мысленный тост за ведьм. Но боюсь, что вам предстоит еще одно испытание. – И она рассказала Гирину, что вчера они с Ритой проверили свои четыре лотерейных билета. Выяснилось, что Сима выиграла какой-то ковер стоимостью в сто двадцать рублей. – Судите сами, на что мне ковер, – со смехом рассказывала Сима, а Гирин откровенно любовался ее возбужденно блестящими глазами на зарумянившемся лице. – И тут меня осенило, – продолжала Сима, еще больше краснея, – это не вещь, а нечаянные деньги, и я могу их потратить на мечту. На свиданье с морем, у которого я была лет шесть назад, во время соревнований по дальности плавания. Теперь техника позволяет слетать в Крым быстрее, чем съездить на Истру. Мне будет громадная радость, и почему-то, – Сима опустила взгляд и договорила на одном дыхании, – мне подумалось, что вам тоже было бы приятно съездить и... так захотелось, чтобы вы побывали у моря вместе со мной. Вот! – И она в упор взглянула на Гирина широко открытыми глазами, в которых он прочитал такую детскую наивную надежду, что созревший в душе мужской отказ замер у него на губах.

И еще он увидел в Симе поразительную беззащитность, главное несчастье тонкой и нежной души, и тут же дал себе клятву никогда не ранить это уже дорогое ему существо с гибким, сильным телом женщины и душой мечтательницы девушки, покорявшей единорога в готических легендах.

– Вы поедете, о-о, хороший, а я так боялась!

– Что я откажусь из-за того, что вы платите за билеты? И то, я ведь собирался! – признался Гирин.

– Нет, не то, что наша поездка не состоялась бы. Другое!

– Ошибиться во мне?

– Да! – шепнула Сима, сияя, и протянула Гирину обе руки.

Так Гирин впервые в жизни попал в весенний Крым. Три дня мелькнули с быстротой киноленты и в то же время были так насыщены впечатлениями, что четко врезались в память всех пяти чувств. От удобного кресла рядом с Симой в слабо освещенном самолете началось то глубокое совместное уединение в природе, какое придавало волшебный характер всему путешествию. Ни Сима, ни Гирин не рассказывали друг другу о себе, ни о чем не спрашивали, радуясь теплой крымской земле, горам и морю, весеннему, тугому от свежести воздуху.

Первый день они провели на склонах Ай-Петри, в колоннаде сосен и цветущих ярколиловых кустарников, под мелодичный шум ветра и маленьких водопадов, как бы настраиваясь на тот музыкальный лад ощущений, какой получает каждый человек на земле Крыма, Греции, Средиземноморья, понимающий свое древнее родство с этими сухими скалистыми берегами теплого моря.

Затем Сима повезла Гирина в Судак, где километрах в двух за генуэзской крепостью, на совершенно пустынном склоне берега рос ее «персональный» сад – кем-то давно поса-

женный арчовый лес. От леска широкая поляна с правильно расставленными, действительно как в саду, кустами можжевельника сбегала к крошечной бухточке с удивительно прозрачной водой, такой же зелено-голубой, как в бухте у Нового Света. Сима, конечно, не выдержала соблазна и выкупалась, а потом, разогреваясь, показала Гирину целое представление по вольной программе гимнастики.

Последний день промелькнул в Никитском саду. Вдоволь налюбовавшись кедрами и деодарами, простирившими широкие пологи темных ветвей, «священными» гинкго и южными длинноиглыми соснами, они уселись под сенью исполинских платанов на скамью около каскада маленьких прудов. Вода, уже пущенная в каскад, плескалась, переливаясь миниатюрными водопадами, а за спиной звонко шелестела прошлогодняя, не потерявшая величия пампасская трава. Сима, притихшая и задумчивая, почти печальная, читала на память Гирину стихи Цветаевой.

Гири́н уже знал, что Сима полна любви к русской старине, искусству и обычаям. К русской природе, русским местам, таким, как их изобразили великие художники Рерих, Васнецов, Нестеров: плачущие березы, громадные ели, стерегущие тайну сказочного леса, заколдованные болота со стелющимся голубым туманом и серебряным блеском месяца на зеркалах неподвижной воды. Степные дороги и волнующиеся поля, курганы и одинокие глыбы гранита или столбы древних памятников. Через эти теперь навсегда изменившиеся ландшафты чувствуется связь с прошлыми поколениями наших предков и тайнами собственной души. Гири́н вырос в такое время, когда чересчур старательно искореняли все старорусское из благих, но глупо выполняемых намерений изъять шовинистический и религиозный оттенок из вновь создаваемой советской культуры. Гири́н был равнодушен к Древней Руси, но сейчас под влиянием Симы к нему пришло хорошее чувство интереса к русской старине и единства с жизнью своих предков.

Прежде Гири́н не любил и не понимал поэзии Цветаевой, но Сима открыла в ее великолепных стихах глубокую реку русских чувств, накрепко связанных с нашей историей и землей.

Под аккомпанемент первобытных звуков льющейся воды, шелестящей травы и отдаленного плеска моря, в прозрачных, как газовая ткань, весенних сумерках, она читала ему «Переулочки» – поэму о колдовской девке Маринке, жившей в переулочках древнего Киева. Молодец Добрыня едет в Киев, и мать не велит ему видаться с этой девушкой, потому что она превращает добрых молодцев в туров. Конечно, Добрыня первым делом разыскивает Маринку. Той нравится Добрыня, и начинается заклятие. Сперва чарами природы, потом телом прекрасным, потом ликом девичьим... Мороком стелется, вьется вокруг него колдовство, и вот только две души – ее и его – остаются наедине, заглядывая в неизмеримую глубину себя. Спускается морок, и, наконец, удар копытом, скок, и от ворот по тонкому свежему снегу турий след.

Сима читала поэму, склоняясь все ближе к Гири́ну, и тот видел, как озорные огоньки все чаще загораются в ее потемневших глазах. Она входила в роль ведьмы, дразняще изгибая тело и приближая лицо к лицу Гири́на, точно и в самом деле заглядывая в глубины его души.

– Море, деревья, трава и мы, – сказала Сима низко и глухо, каким-то чужим голосом.

Гири́н поддался колдовской силе, исходившей от девушки, ее близкому горячему дыханию, упорному взгляду. Забыв об осторожности, он приказал Симе подчиниться. Девушка, сникнув и опустив ресницы, припала к его груди. Гири́н схватил ее, крепко прижал к себе и поцеловал в губы. По телу Симы волной прошла судорога, оно стало твердым, точно дерево, но Гири́н уже опомнился и отпустил девушку. Она вскочила, залитая румянцем смущения, поднесла пальцы к вискам и села, опустив голову, подальше от Гири́на.

– Ох, как глупо все получилось, – с усилием произнесла Сима, – я не понимаю, как это вышло. Ой, как нехорошо!

– Что ж тут плохого, – улыбнулся Гирин, – мне кажется, что все очень хорошо! Лучше быть не может!

– Вы ничего не поняли! – с возмущением воскликнула Сима. – Так нельзя, ведь я еще не пришла совсем. Захотелось созорничать, и вместо того, как будто мою волю смяло, и я стала покорной, как... раба. Так мечтает Рита, а я... я не могу.

– Простите меня, Сима, – серьезно и печально сказал Гирин, беря руки девушки, – когда-нибудь вы поймете, что здесь виноват и я. Забудем это. Считайте, что ничего не случилось!

Сима слабо улыбнулась, но весь путь до Симферополя держалась слегка отчужденно, часто задумываясь. Только в самолете былая доверчивость вернулась к ней, и она сладко дремала на плече Гирина, а тот сидел недвижимый, как изваяние, опасаясь нарушить драгоценное чувство близости своей спутницы.

Внезапно он понял, насколько психологически верна поэма «Переулочки». Ступень за ступенью, отрываясь от элементарных чувств, восходит сознание ко все более широкому восприятию красоты.

«Отлично, – решил Гирин, – вот и заглавие для реферата лекции, который хотят опубликовать художники: «Две ступени к прекрасному».

Глава 6

Тени изуверов

Гири́н встретил Симу на широких ступенях Библиотеки имени Ленина, и они вместе направились в Музей книги. Там не было особой средневековой комнаты – «кабинета Фауста» с готическими сводами, узким окном и тяжелой мрачной мебелью, какая поражает посетителей Ленинградской публичной библиотеки. Но и вполне современное помещение казалось угрюмым от громадных книг в толстых кожаных переплетах, хранящих следы железной оправы от эпох, когда книги приковывались тяжелыми цепями. Сима вся подтянулась и шла, осторожно ступая, будто опасаясь западни. Они вполголоса приветствовали знакомого Гирина – хранителя средневековых инкунабул. Тот подвел их к отдельному столу, на котором лежала порядочно потрепанная книга толщиной более полуметра, в гладком переплете из побелевшей кожи.

– Он? – односложно спросил Гири́н.

– Он, «Молот». Издание примерно пятое, конец пятнадцатого века.

– Сколько же изданий насчитывает эта проклятая книга?

– Двадцать девять, последнее в 1669 году, первое в 1487-м. Неслыханное количество для тех невежественных веков!

Гири́н хмыкнул неопределенно и угрюмо. Хранитель книг сделал приглашающий жест и удалился. Гири́н медленно подошел к столу, глядя на книгу, и стоял перед ней так долго, как будто забыл обо всем в мире. Сима с любопытством наблюдала, как изменилось доброе лицо, уже становившееся для нее близким. Оно стало жестким, суровым, а сузившиеся, холодные глаза, казалось, принадлежали безжалостной мыслящей машине. Сима подумала, что таким должен быть Иван Родионович в часы неудач или поражений, неизбежно сопровождающих настоящую творческую деятельность.

Не оборачиваясь к своей спутнице, Гири́н молча раскрыл толстый кожаный переплет. Сима увидела крупные, видимо рисованные, буквы заглавного листа, сохранившие свою грубую четкость. Латинские слова в готической прописи были совершенно непонятны Симе, и она перевела вопрошающий взгляд на Гирина. Беглая гримаса отвращения исказила его хорошо очерченные губы, неслышно читавшие заглавие загадочной книги. Он очнулся, только когда она коснулась его руки.

Лежавшее перед ним чудовище вызывало гнев и боль, породившие, в свою очередь, яростную скачку мыслей. Гири́н увидел страшный мир европейского позднего Средневековья, словно отрезанный от всей просторной и прекрасной земли, тонувшей во мгле отравленного злобой, страхом, подозрениями религиозного тумана. Тесные города, где в ужасной скученности и грязи жило стиснутое крепостными стенами рахитичное население, променявшее чистый воздух полей на нездоровую безопасность. Но в полях обитатели небольших деревень тоже жили под вечным страхом грабежей, внезапных поборов, голода от частых неурожаев. Запуганные люди находились в жестоких клещах военных феодалов и отцов церкви, более мстительных, изворотливых и дальновидных, чем владетельные сеньоры. Непрерывные угрозы всяческих кар за непослушание и вольнодумство сыпались от власти светской и духовной на головы, склонявшиеся в покорности. Ужасные муки ада, придуманные больным воображением, сонмы чертей и злых духов незримо витали над психикой легковверных и невежественных народов, давя ее неснимаемым бременем.

Как психологу, Гирину была совершенно ясна неизбежность возникновения массовых психических заболеваний. Деспотизм воспитания семьи и церкви превращал детей в фанатиков-параноиков. Плохая, нищая жизнь в условиях постоянного запугивания вызывала истерические психозы, то есть расщепление сознания и подсознания, когда человек

в моменты подавления сознательного в психике мог совершать самые нелепые поступки, воображать себя кем угодно, приобретал нечувствительность к боли, был одержим галлюцинациями. Необыкновенное число паралитиков было среди мужчин. Психические параличи, подобные болезни матери Анны, были попыткой бессознательного спасения от окружающей гнусной обстановки. Но еще тяжелее была участь женщин. Вообще более склонные к истерии, чем мужчины, вследствие неснимаемой ответственности за детей, за семью, женщины еще больше страдали от плохих условий жизни. Беспощадная мстительность бога и церкви, невозможность избежать греха в бедности давили на и без того угнетенную психику, нарушая нормальное равновесие и взаимодействие между сознательной и подсознательной сторонами мышления.

Заболевания разными формами истерии неминуемо вели несчастных женщин к гибели. Церковь и темная верующая масса всегда считали женщину существом низшим, греховным и опасным – прямое наследие древнееврейской религии с ее учением о первородном грехе и проклятии Евы. Кострами и пытками церковь пыталась искоренить ею же самой порожденную болезнь. Чем страшнее действовала инквизиция, тем больше множились массовые психозы, рос страх перед ведьмами в мутной атмосфере чудовищных слухов, сплетен и доносов. Перед мысленным взором Гирина пронесли солнечные берега Эллады – мира, преклонявшегося перед красотой женщин, огромная и далекая Азия с ее культом женщины-матери... и все застлал смрад костров Европы. Чем умнее и красивее была женщина, тем больше было у нее шансов погибнуть в страшных церковных застенках, ибо красота и ум всегда привлекают внимание, всегда выделяются и падают жертвой злобы, вызываемой ими в низких душах доносчиков и палачей...

Гирин провел рукой по лбу и увидел встревоженное милое лицо Симы.

– Что с вами? – спросила она.

– Простите меня, Сима, – выпрямился Гирин. – Слишком велика моя ненависть к этому позору человечества, и я никак не могу подняться на высоту спокойного и мудрого исследования прошедших времен. Мне кажется, что я сам становлюсь участником злодеяний и несу за них ответ. Так вот, книга, лежащая перед нами, – это чудовище, замучившее несметное число людей, главным образом женщин. Мне противно трогать ее страницы, с них, кажется, и сейчас капает кровь. Это «Молот ведьм» – «Маллеус малефикарум», сочиненный двумя учнейшими монахами средневековой Германии – Шпренгером и Инститором. Руководство, как находить ведьм, пытать их и добиваться признания.

– Это вы хотели показать мне? Зачем?

– Чтобы вы острее почувствовали страстную, от всей души убежденность в собственной правоте, в верности своих суждений, ту убежденность, которая составляет силу интеллигентного человека и которой часто не хватает вам, женщинам. Устроенная мужчинами культура даже в своих высших формах кое в чем грешит... даже теперь!

– Оправданием сильного пола и осуждением слабого?

– Да, в самых общих чертах. Но начало этого лежит глубоко, тому доказательство «Молот».

– Неужели он только касался женщин? А колдуны?

– Находились в числе несравненно меньшем. Самое название книги «Маллеус малефикарум» говорит об этом. – Гирин начал читать по-латыни, и звучные четкие слова казались ударами молотка. – «Маллеус малефикарум: консэквиэнтер хэрээс децэнда эст нон малефикорум сэд малефикарум ут а поциори фиат деноминацио». «Молот злодеек, поскольку эта ересь не злодеев, а злодеек, потому так и названо!» – Гирин перевернул несколько страниц и продолжал, уже прямо переводя с латыни: – «Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей. Женщины далеко превосходят мужчин в суеверии, мстительности, тщеславии, лживости, страстности и ненасытной чувственно-

сти. Женщина по внутреннему своему ничтожеству всегда слабее в вере, чем мужчина. Потому гораздо легче от веры и отрекается, на чем стоит вся секта ведьм...» Ну, здесь половина страниц занята перечислением гнусностей женского пола, взятых у древнехристианских писателей, вроде Иеронима, Лактанция, Иоанна Златоуста. Даже у древнегреческих, вроде больного истерией Сократа. Хватит, пожалуй?

– Но что же дальше? – воскликнула Сима. – Не в одной же только глупой брани по адресу женщин ужас этой книги?

– Конечно, нет! Это все, так сказать, подготовка для того, чтобы ожесточить сердце судей-мужчин.

– И?..

– Дальше следуют прямые указания. Вот. – И Гирич открыл особенно потертую страницу: – «Необыкновенность и таинственность этих совершенно исключительных дел ведут к беспомощности обычной судебной процедуры. Уликами являются или собственное признание, или показания соучастников. Принцип «хэретикус хэретикум аккузат» – «еретик обвиняет еретика» – должен быть положен в основу. Опыт показывает, что признания и имена сообщников добываются лишь силой самой жестокой пытки: «сингуляритас исциус казус экспозит тормента сингулярна» – вот видите, строчка, написанная киноварью, будто запекшейся кровью: «особенность этих случаев требует особенных пыток». Отказаться от пыток значило бы в угоду дьяволу «потушить и похоронить все дело», ибо здесь «ведется состязание судей не с человеком, а с самим дьяволом, владеющим еретиками».

Вся остальная книга посвящена описанию пыток, того, как их применять, и технике допроса, ибо добиваться признания во что бы то ни стало – вот естественная задача подобных расследований. Райские венцы были обещаны инквизиторам римской церковью в знаменитой булле папы Иннокентия Седьмого, да и многими более ранними писаниями. Бешеное усердие этих «домини канес», то есть «собак господ», приводило лишь к массовому распространению истерических психозов. Груды доносов, наговоров и оговоров на пытках росли горой, уменьшая и без того небольшое население. В одном лишь немецком городке Оснабрюке в шестнадцатом веке за год сожгли и замучили четыреста ведьм при общем числе женского населения около семисот человек! Церковь совершенно не понимала психических заболеваний. Глубочайшее невежество и тупость обуславливали легкое верие судей: они верили самым нелепыми измышлениям замученных, запуганных и истерзанных людей. Что же говорить про простой народ, пребывавший в чудовищном незнании!

– Так неужели народ не вставал на защиту несчастных женщин? – спросила Сима, все более возмущаясь.

– Не только не вставал, но, хуже того, проклинал и травил осужденных.

– Чем же это можно объяснить?

– Использованием церковной и светской властью скверных условий жизни! Неумелое управление, войны, поборы, истребление людей привели к неустойчивости экономики, и прежде всего сельского хозяйства. Малейшие недостатки в обработке земли, случайности погоды вели к неизбежному голоду среди и без того несытого населения. Возраставшее озлобление народа надо было отвести во что бы то ни стало. Не могли же признаться отцы церкви, что бог бессилен облегчить участь своих «детей», так же как и светская власть не могла признаться в своем неумении управлять.

Очень удобно: неурожай – ведьмы устроили; коровы не дают молока – ведьмы; напала вредная мошкара на виноград – ведьмы, и так во всем. И вот результат: все допросные листы наполнены признаниями несчастных женщин в том, что они вызвали голод, мор скота, болезни людей. Озлобление народа против ведьм росло с каждым годом, по мере того как ухудшалась экономика средневековой жизни. Но церкви этого казалось мало – на ведьм возводились самые чудовищные обвинения в таких гнусностях, что даже говорить противно.

– А все же?

– Ну, например, их обвиняли в выкапывании из могил трупов, особенно младенцев, в пожирании их... Да что там, разве расскажешь о всей мерзости, какую мог выдумать невежественный и гнусно направленный ум, распаленное воображение бездельников и садистов? Помните рисунок Гойи «Нет помощи»? В нем все сказано. Измученная молодая женщина в дурацком колпаке с изображениями чертей привязана к мулу, лицом к хвосту, ее везут, очевидно, на казнь. Широко раскрытые глаза «ведьмы» в мольбе о помощи с безмерной тоской устремлены вверх моря разъяренных и тупых лиц.

– Но неужели же не нашлось ни одного разумного, образованного человека, который смог бы подняться на защиту не с мечом, а с пером в руке?

– Находились! Хотя бы известный ученый богослов Вейер, знаменитый противник инквизиции. Он доказывал, что все эти процессы ведьм – хитрости самого дьявола, им же устроенные. Вот что писал он – я помню почти дословно перевод одного из лучших наших исследователей истории ведьм, Николая Сперанского: «Толпа стоит и смотрит, как на телеге живодера везут ведьм на место казни. Все члены у них часто истерзаны от пыток, груди висят ключьями; у одной переломаны руки, у другой голени перебиты, как у разбойников на кресте, они не могут ни стоять, ни идти, так как их ноги разможжены тисками. Вот палачи привязывают их к столбам, обложенным дровами. Они стонут жалостно и воют из-за своих мучений. Одна вопиет к богу, другая призывает дьявола и богохульствует. А толпа, где собрались и важные особы, и беднота, и молодежь, и старики, глядит на все это, нередко насмехаясь и осыпая руганью несчастных осужденных...»

Гирин остановился, заметив, как повлияли на Симу его слова.

– Думаю, что довольно. Добавлю лишь, что нельзя обвинять в этих ужасных злодеяниях только католическую церковь. Протестанты, кальвинисты и лютеране едва ли не с большей жестокостью преследовали мнимых злодеек и не уступали католикам в чудовищной изобретательности пыток. И книга, лежащая перед вами, – это не начало, а результат вековых экспериментов в застенках и обдумывания их в монашеских кельях!

– Ужасно! – прошептала Сима. – Я так мало об этом знала.

– Здесь не вы виноваты. Не научились мы еще по-настоящему преподавать историю. Античные времена в учебниках очень красивы, но мало там настоящего экономического марксизма, Средние века стыдливо прикрыты христиански настроенными учеными, и мы их как следует не разоблачили. Только недавно началось равноправие истории Запада и Востока, но и теперь еще ничтожные события Европы мы знаем лучше великих исторических перемен Востока. Надо изучать реальную жизнь: и успехи и ошибки человечества, строящего эту жизнь... особенно такие страшные ошибки, как эта. Мрачные имена Шпренгера и Инститора, Бодена, Дельрио, Карпцова должны служить не пугалами жестокого изуверства, а сделаться предметом научного исследования. Пора отогнать от истории Средневековья церковников или верующих, стремящихся смягчить и замазать этот позор церкви, и призвать материалистически мыслящих ученых, сведущих в психологии и общественных науках.

– Неужели все подозреваемые женщины сознавались в гнусных измышлениях, внушаемых им? – спросила Сима.

– Что же им было делать? Уже по поразительному однообразию их признаний можно было заключить, что тут что-то неладно. Но где было рассуждать их фанатичным палачам? И все же многие протоколы допросов говорят о великолепном геройстве некоторых женщин: и совсем юных девушек, и старух. Я склоняюсь перед их памятью, ибо нет на Земле высшего геройства, чем подобная стойкость. Непреклонность этих женщин ожесточала инквизиторов. Пытку усложняли, доводя до самых высших ступеней, самими судьями называвшихся бесчеловечными. А подсудимые упорно не сознавались или, уступив невероятным страда-

ниям, потом сразу же брали признание обратно. пытку повторяли множество раз. В одном протоколе записано: пятьдесят три раза! Героини умирали в застенке, оставленные всеми, отрезанные от мира, не сознавшись и не сказав того, что требовали судьи. Не из страха казни (потому что пытка была куда страшнее смерти, «ужаснее десяти смертей»), по признанию одного из инквизиторов, «отца» – иезуита Шпе), а из-за своей высокой моральной чистоты, не давшей им оболгать невинных и обречь их на такие же мучения. Полные отвращения, отвергая мерзкие наветы, выдуманные церковниками, в одиночку боролись эти женщины, могущие быть примером и честью человечества. Вот записанные показания, вернее, вопль невинной и стойкой души, какими не раз оглашались проклятые застенки: «Я не виновна, господи Иисусе, не оставь меня, помоги мне в моих муках... Господин судья, об одном молю вас, осудите меня невиновной. О боже, я этого не делала, если бы я это делала, я бы охотно созналась. Осудите меня невиновной! Я охотно умру!..»

Гирин переводил, не замечая, как вздрагивает Сима.

– Дальше тут говорится, что она так и умерла, подобно другой, очень красивой молодой женщине, которая не издала ни звука, хотя в нее «били, как в шубу, сажали на козла и раздробили кости...».

– Но как же это возможно?

– Это явление известно в психологии как истерическая аналгезия, или утрата болевых ощущений от заболевания тяжелой истерией. Среди «ведьм», как я уже говорил, было много нервнобольных, и, уж конечно, психические расстройства возникали от пыток. Но в большинстве случаев, и это физиологически вполне закономерно, что от тюрьмы, голода, страха и пыток психика человека надламывалась. Он превращался в безвольное, покорное своим палачам существо, готовое возвести на себя любую вину, сознаться в чем угодно, лишь бы избавиться от мук. И все шли на костер. Впрочем, не все. Кальвин в отличие от «псов господ» замуровывал женщин живыми. За редчайшими исключениями, никто из схваченных не спасался: слуги божьи не могли ошибаться...

– Довольно! – вырвалось у Симы.

– Я тоже думаю.

– И вы считаете, что связь между несчастьем Нади и «Молотом» – это ненависть к женщине, возвращенная церковью...

– Да в этом-то и скрыта суть дела! Воспитанием европейского человека уже примерно веков семнадцать занималась христианская церковь. Не удивительно, если остатки этой морали уцелели в скрытых, подчас неосознанных формах и в нашей Советской стране, давно порвавшей с религией. Именно по отношению к женщине у нас еще много христианских предрассудков, и случай с Надей имеет прямое ко всему этому отношение. Я привел вас к «Молоту ведьм», чтобы показать ту глубину позора и падения, ту кульминацию мракобесия и жестокости, которая не может быть ничем смыта с христианской церкви ни теперь, ни в будущие тысячелетия. Точно так же, как позор фашизма и лагерей смерти ничем не смывается с европейской культуры нашего века!

– Да, всех тяжелей приходилось женщине.

– Христианство полностью взяло из древнееврейской религии учение о грехе и нечистоте женщины. Откуда оно взялось у древних евреев – самого архаического народа на планете, пережившего всех остальных своих современников; кроме разве китайцев, – это нетрудно установить, если подумать о бытовых условиях их жизни на краю пустыни, под ежечасной угрозой нападения соседей. Но сейчас не об этом речь. Дело в том, что эти моральные принципы вошли полностью в христианскую религию и затем прочно усвоились церковью. Основатель римской церкви апостол Павел, с современной точки зрения – явный параноик с устойчивыми галлюцинациями, особенно круто утвердил антиженскую линию церкви.

Церковь к концу Средневековья разрослась в мощную организацию с широкой и неограниченной властью, и по законам диалектического развития зерна ошибок, посеянных при ее основании, разрослись до неизбежного противоречия с самим существом христианской религии – до чудовищного по кровожадности и жестокости преследования ведьм, а заодно и всякого свободомыслия, на века отбросившего назад человечество – вернее, нашу европейскую цивилизацию – и поставившего Европу на грань полного экономического краха. Если бы не подоспело ограбление Азии и Африки, то вряд ли Европа выдержала бы такой крах своей культуры и воспитания. Дошло до того, что красивые женщины в Германии, Испании и других странах стали редкостью!

Испания, где инквизиция особенно разгулялась в течение почти трех веков, постепенно, поколение за поколением, лишилась вообще всех своих наиболее талантливых, мужественных и образованных людей, чем и погубила себя как мировую державу, сделавшись третьеразрядной страной, переставшей влиять на развитие европейской экономики и культуры.

Кстати, у нас на Руси в те времена ничего подобного не было. Ну, конечно, церковники тоже казнили ведьм или колдунов. У нас было больше колдунов, но общественного бедствия не было. Сравните с тем, что писал про Германию того времени священник Мейфарт, цитирую на память по Сперанскому: «Любая беда мерещилась случившейся неспроста и вызывала подозрения и доносы. Честный человек с добрым именем мог гораздо безопаснее, безмятежнее и спокойнее жить среди турок и татар, нежели среди немецких христиан».

– И как мог народ переносить все это? – спросила Сима.

– Сам не понимаю. Я сказал уже, что нужны серьезные исследования. Интересно, что возвращение к нормальным условиям существования, к гуманизму и уважению к женщине вернуло нас к прекрасному и вызвало великое возрождение искусства. Как писал известный исследователь Тейлор, «церковь никогда не смогла добиться всеобщегоприятия ее сексуальных правил. Однако по временам она становилась способной так усилить половую воздержанность, что породила массу психических заболеваний. Не будет слишком сильно сказано, что средневековая Европа стала напоминать сумасшедший дом».

– Как же дошла до этого церковь?

– За многие века ее существования машина церкви стала хорошо устроенной и могучей. И фанатики, хоть и в малом числе, что еще опаснее, получили контроль над всей этой машиной. Впрочем, таковы же были и цари, и владетельные сеньоры, все от мала до велика зараженные дикими идеями веры, как я уже сказал, отправившей женщину, ее любовь, ее красоту и ее тело в бездны ада.

До сих пор не обнаружено все, книг об этом очень мало. Да и как было человеку религиозному не стараться замолчать этот позор церкви? Как сама она могла признаться в таких ужасающих злодеяниях? Это бы значило отвратить от себя всех мало-мальски мыслящих людей!

Церковь не справилась со взятой на себя ролью морального воспитателя человечества. Сама организация церкви стала смертельно опасна для нормального развития культуры. Конечно, ее могущество даже на Западе сейчас очень ослабло. Но и римская церковь, и протестанты, и лютеране – все показали себя в Средневековье одинаково, что еще раз подтверждает: в самой основе христианской церкви коренятся гибельные семена нетерпимости, мракобесия и тирании, то есть фашизма.

– Боже мой, как же мало я знала о Средневековье, – горестно покачала головой Сима.

– Разве только вы? Удивительно, что в нашей стране, первом атеистическом государстве мира, нет на подобные темы никакой серьезной литературы. Этот аспект Средневековья нам, как и всем, малоизвестен. Случайно или нет? Думаю, не случайно, мы следуем за церковниками от несознательности. Видите, и вы, родившаяся почти в двадцатилетний юбилей

Советского государства, призываете бога. Это только привычное восклицание, но все же. Почему же вы удивляетесь, что так живучи пережитки церковной морали? Почитайте-ка современных литераторов – и в каждой второй книге найдете все эти ревности, женские целомудрия, осуждение «падшей»... Это пишется с добрыми намерениями, во имя укрепления семьи, но не на отживших же церковных принципах надо бороться за новую семью! И «падшие» начинают верить, что они существа неполноценные, жертвы, безответственные.

– Я поняла все! – воскликнула Сима. – По церковной морали мы, женщины, существа низшие, наша любовь и страсть – грех, проклятие Евы лежит на всех ее потомках. Но так как никто, даже самая свирепая религия, не может запретить естественных потребностей, то пришлось религии мириться с физической любовью, да и как иначе стало бы существовать человечество? Но женщина может принадлежать лишь одному избраннику, поэтому должна быть «чиста», то есть целомудренна до брака. Если она кого-то уже любила, то ее можно унижать, проклинать, истязать. Так?

– Так. Считая, что с церковью все покончено и она уже никогда не будет влиять на умы советских людей, мы пренебрегли живучестью старых понятий и не постарались тщательно их искоренить. То там, то сям поднимают голову эти тайные, глубоко запрятанные в душах пережитки Средневековья. Потому и показалось Надиному летчику, что он подло обманут, что он оскорблен. Это основа, а дальше идет еще множество последствий. Когда жрецы мракобесной морали получают неограниченную власть, как то было со средневековой церковью, то результат вот он. – И Гирин показал на страшную книгу, мирно покоившуюся на столе. – Нужна борьба, сознательная, освещенная знанием. Поэтому и вы здесь – перед тем как увидеться с Надей.

Гирин умолк, и Сима долго и пристально смотрела на него. Залившись румянцем, она шагнула вперед и, поднявшись на носки, смело обхватила руками шею Гирина и поцеловала его.

– Иван Родионович, спасибо!

– Не нужно, Сима! Это тоже пережиток.

– Но если так... Найдется у вас еще час-полтора?

– Сегодня – да!

– Я всегда убегаю от огорчений в зоопарк. И сейчас, после экскурсии в прошлое, я не могу сразу вернуться к себе. Пойдемте?

Гирину радостно было чувствовать рядом с собой крепкое плечо Симы, шагать в такт ее быстрой и легкой походке. Они пошли по улице Воровского, где черные деревья подернулись зеленеющей дымкой. На углу Садовой Сима, упорно молчавшая всю дорогу, внезапно остановилась.

– Хорошо, что вы врач, физиолог, психиатр, значит, я получу исчерпывающий ответ на важный вопрос. Последний сегодня! Но мне надо покончить с этим перед тем, как мы придем в зоопарк.

– Смотря какой. Я же не мудрец Востока.

– О, – начала Сима, волнуясь, – вот какой. В этой ревности у мужчин к прошлому женщины, кроме того, о чем вы говорили, сказывается первобытность, а потом церковная мораль. А есть ли еще какая-то основа, как вы ее называли, психофизиологическая? Нечто идущее из психики, но современное, нынешнее?

– Увы! Оттого-то и не умирают отжившие моральные понятия, что попадают на пригодную для них почву.

– И эта почва?

– Возрастающее ослабление физической выносливости и душевной энергии при городской жизни без физической работы и закалки и в то же время при значительной нервной нагрузке. Получается, что все чувства и желания как бы приглушены, стерт

и не дают полноты переживаний, глубоких впечатлений, свойственных здоровой психике. Это порождает чувство собственной неполноценности, что, в свою очередь, делает невыносимой самую мысль о сопернике и, следовательно, возможности сравнения у возлюбленной. Ох, как важно заниматься физической культурой!

– Вы это говорите мне! – рассмеялась Сима. – А мне кажется, что я слишком много уделяла внимания развитию тела и отстала в духовном отношении.

– Нет, – с задумчивой уверенностью возразил Гирин, – чем больше я знакомлюсь с вами, тем больше мне кажется, что у вас все хорошо уравновешено. То, что я проповедую и о чем мечтаю, – о лезвии бритвы.

Сима, захваченная прежними мыслями, не смогла отвлечься и молчала до тех пор, пока они не оказались на территории зоопарка. Время было самое удобное: вторая школьная смена уже пошла на занятия, а первая еще не появилась. Главные посетители отсутствовали, и взрослые люди степенно расхаживали между сетками. Сима преобразилась, нежно приветствуя своих любимцев: важную маленькую панду, скуластую, раскосую, восседавшую в углу клетки с миной оскорбленного бюрократа, строптивых и лохматых пони, протягивавших из-за решетки теплые губы к ласковым ее рукам, и старательного волка, рывшего глубокую яму в открытом вольере. Звери прислушивались к голосу Симы и подолгу не сводили с нее бдительных и глубоких глаз.

Стайка молодых диких уток неуклюже карабкалась по размокшей глине, пробираясь к кормушке. Сима подбодряла их, утята переваливались на скользких лапках, оступались, валились на бок, скатывались и снова штурмовали берег.

Гирин любовался Симой, превратившейся в охранительницу жизни, переполненную нежностью и заботой ко всему маленькому, беспомощному, неумелому. Он думал о женщине – кормилице домашних животных и вообще всех животных, потому что ее материнского сердца с избытком хватало не только на собственных детей. Потому-то древние обитатели некогда сказочно богатых зверьем равнин и холмов Ирака, где библейские предания помещали мнимый рай, верили в богиню – владычицу зверей. Они передали эту веру многим народам. Тысячелетия сохранялось представление об особой власти женщины над животными. Обскуранты извратили его, распространяя легенды о ведьмах, повелевавших волками-оборотнями, бешеными медведями, полчищами крыс. Гирин внутренне усмехнулся, представив себе Маргариту Назарову с ее тиграми в древности. На Востоке ее сделали бы богиней, в Европе – сожгли. Тут-то и спрятан ключ, вскрывающий разницу культур, и не в нашу, европейскую, пользу...

Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдание, – наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный, изначальный принцип всей природной исторической эволюции, и он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни, и, если бы был создатель всего сущего, тогда это – его грех. Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась, потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания. Впрочем, черт с ними, с изуверами всех эпох и времен! Сима, расточающая свою нежность животным, так хороша, что эти минуты кажутся важнее всего, что было, есть и будет с ним, Гириним.

– Скажите, вам не смешно мое... мое отношение к зверям? – прямо, по своему обыкновению, спросила Сима.

– Нет, мне оно нравится. Жалею, что сам не могу.

– И хорошо. У мужчин по-другому. Странно, но если мужчина уж чересчур, до сентиментальности любит каких-нибудь зверей или домашних животных, он зачастую эгоист, жесток или нечист совестью!

– Откуда вы это знаете, Сима?

– Не знаю. Наблюдала, может быть, читала.

Прошло уже немало времени, а Гирин с Симой бродили от клетки к клетке, подолгу останавливаясь перед заинтересовавшими их животными.

– Смотрите, какие изумительно ясные глаза у хищников, – говорила Сима, всматриваясь в презрительную морду леопарда. – Хорошо бы нам получить от природы такие же. – Гирин объяснил Симе, что зрение для хищников – вопрос существования всего вида. Поэтому и у хищных птиц, и у плотоядных зверей такие замечательные чистые глаза, иногда еще обладающие способностью аккумулировать свет для охоты в сумерках или ночью.

– Видите, они смотрят прямо перед собой, – показал он на крупную львицу, – их взгляд похож на наш. Это двуглазое, стереоскопическое зрение, отличающееся своей сосредоточенностью от рассеянного взора травоядного. Зато травоядное обладает куда более широким обзором, почти во все стороны, откуда может приблизиться враг. Но это давно известные вещи, а сейчас начинают раскрываться гораздо более сложные приспособления глаз к поляризованному свету и к видению в инфракрасных лучах, позволяющему змеям или совам в полной тьме различать контуры теплого тела и даже выслеживать добычу по оставляемому ею тепловому следу, как выслеживают по оставленному запаху. Глаза крокодилов обладают повышенной способностью к изменению окраски сетчатки, поэтому они видят отчетливо и днем и в сумерках. Можно без конца говорить о чудесном мире животных, об удивительных устройствах их организмов, раскрытие которых ведет к новому пониманию человека.

– А все-таки расскажите еще немного, – попросила Сима. – Я становлюсь крокодилом и начинаю видеть в сумерках.

И Гирин, подчиняясь интересу и вниманию своей спутницы, рассказывал ей о жирафах, пасущихся в тени деревьев, среди саванн, залитых ярким солнцем, и потому вооруженных поляроидными фильтрами в роговице глаз, о древних полукошках Тибета и Горного Китая, обладающих особо молниеносными движениями, о крошечных землеройках, которые так малы, что зимой не могут сохранить нужной теплоты тела и вынуждены находиться в постоянном движении, пожирая за сутки количество пищи, в три раза превосходящее вес тела. Он говорил о крохотной мышши-перогнате из пустынь Северной Америки, весящей всего семь-восемь граммов и никогда не пьющей воды. В полную противоположность нашей землеройке эта мышшь приспособилась впадать в спячку при каждом неблагоприятном случае: если становится слишком жарко, или холодно, или не хватает пищи, животное сразу же погружается в продолжительный сон.

От ультразвуковой локации летучих мышшей Гирин перешел к радиолокации африканских рыб – мормирусов, обитающих в непроницаемой для зрения илистой воде глубоких речных устьев, к звуковой ориентировке невероятно умных дельфинов, устроенной в точности как сонар современных боевых судов. Он рассказывал о поразительном количестве летучих мышшей в Центральной Америке, где в пещерах находят во время их спячки «связки» по пять метров в поперечнике, о смертельно ядовитых вампирах – сосущих кровь летучих мышшах, обитающих в Панаме...

– Какая мерзость! – поежилась Сима. – Я представляю себе разных насекомых: клещей, комаров, пьющих кровь, но ведь летучая мышшь – вампир – это млекопитающее, даже в какой-то степени родственное низшим приматам!

– О, вы неплохо знаете зоологию, – удивился Гирин. – Но что вы скажете о человеке-вампире?

– В страшных сказках Средневековья?

– В самой реальной действительности. Скотоводческие племена Восточной Африки – ватусси и масаи, кстати сказать, наиболее интеллигентные, красивые и храбрые, питаются в основном молоком, смешанным с кровью коров, которую они берут из шейной вены. Разве

это не злодеяние вампира с точки зрения коровы? А с точки зрения человека? Вместо того чтобы убить животное, лучше взять у него немного крови: если делать это с умом, то вреда никакого не будет.

– И верно! Казалось бы, пугающая вещь, а оборачивается даже гуманностью!

– Как все в нашем диалектически сложном мире. И почти всегда мы об этом забываем. Нас с детства учат логике, но однолинейной, однобокой, математической. Пора бы уж подумать об иной педагогике. А то, например, мы привыкли с детства считать, что рыба – типичное холоднокровное животное, стоящее в физиологическом отношении куда ниже наземных позвоночных. Но ведь есть теплокровные рыбы с мясом, похожим на говядину, потому что оно так же обильно снабжено кровью. Это тунцовые, из них меч-рыба и парусная рыба мчатся по океану со скоростью девяносто километров в час. Такая сумасшедшая скорость под силу лишь самым мощным нашим кораблям, а тут просто рыба. Но рыба со стальными мышцами, не поддающимися даже сильным ударам, обильно омываемыми кровью и работающими при той же крайней для белка температуре, что и мускулы самых высших животных. И тут сразу же вступает в силу противоречие: низкий уровень снабжения кислородом через жабры не позволил бы получить нужной для такой скорости энергии, если бы сама скорость не пришла на помощь. Через широко раскрытые жаберные щели на бешеном ходу проносится громадное количество воды, насыщенной кислородом, что и заменяет дыхание высших позвоночных.

Есть рыбы, выкармливающие своих мальков подобием молока, выделяющегося особыми железами прямо на поверхности тела. Это симфизодоны, обитающие в реках бассейна Амазонки.

Таково бесконечное многообразие отношений организма и природы – двух частей одного целого, туго переплетшихся в преодолении противоречий развития за сотни миллионов лет истории Земли.

Теперь мы стали понимать, как лепится животная форма, связанная сложнейшими взаимоотношениями с окружающей средой; это долго оставалось загадкой и было главным козырем идеалистов. Отсюда мы пойдем к человеку, распутывая всю сложность его физиологии и психики, и получим твердую опору для настоящей медицины, новой морали и этики.

– Я ошибаюсь, или мне кажется, что вы пока говорите о желаемом, но не о фактическом состоянии биологии? – спросила Сима.

Гирин усмехнулся с нескрываемой горечью:

– Вы правы. Очень долго бытовал у нас устаревший взгляд на биологию, особенно зоологию, анатомию, морфологию, как на второсортные науки. Только недавно мы наконец обратили внимание на отставание биологии. Энергетика живых организмов, изучение их самоуправления и регуляции породили кибернетику, биоэнергетику и бионику. И в то же время кое-где у нас еще продолжают твердить о ненужности анатомии и морфологии, изучения форм и их соотношения с природой, сокращают ассигнования некоторым лабораториям. Мы долго отдавали на откуп Западу антропологию, генетику человека, психофизиологию и вообще ряд отраслей науки, занимающихся человеком. Довольно длительное время все это было под запретом. А ведь для коммунизма самое главное – человек и, следовательно, все относящееся к нему. Техника – что она без людей: звездолет с автоматическим управлением может вести и дикий в других отношениях человек. Летали же фашистские негодяи на самых сложных самолетах, и не так уж плохо летали! Простите, – спохватился Гирин, – вы затронули больное место, и я обрушил на вас свои заветные мысли. Пойдемте дальше!

– Вы говорили о глазах, – задумчиво сказала Сима. – А вы замечали выражение их у разных животных? Смотрите, какая бездушная, бесстрастная зоркость у хищных птиц, и совсем другие глаза у собак, волков – думающие, тоскующие. Тупые, кроткие и равнодушные у жвачных. А вот посмотрите! – Она показала на большую бурую гиену из Южной

Африки, развалившуюся на невысокой полке. – Видите, какие у нее безумные глаза. Такое выражение бывает у сумасшедшего или омерзительно пьяного человека. И я заметила похожее выражение безумия у кенгуру, даже у хорьков. Что это, как не показатели разных мыслительных процессов? Мне становится страшно, когда я смотрю в глаза гиене.

– Очень интересно, – подумав, согласился Гири́н. – Ведь и в самом деле птицы наиболее автоматизированы в своих жизненных процессах, это почти роботы, руководящиеся главным образом памятью поколений – инстинктами. Гиены, хорьки, особенно кенгуру – психически низко организованные млекопитающие. Они руководятся подсознательными процессами, регулируемые древними инстинктами, без активного влияния памяти, для человека это было бы безумием.

Вы натолкнули меня на идею сравнительного анализа психических процессов у всех этих животных. Спасибо. А что вы скажете насчет львов или тигров? – Он показал на ряд клеток с крупными кошками, к которым они снова подошли, миновав гиену.

Сима ответила не сразу, задумчиво глядя на льва, выпрямившегося за прутьями клетки и втягивающего влажный ветер. В его ленивом и гордом выражении не было ничего похожего на бесстрастную автоматику птиц, на вызывающую готовность медведя, низкопоклонство собак. Даже самодовольная замкнутость мелких кошек ничем не напоминала взгляда желтых глаз льва и расположившейся рядом крупной львицы.

– Это спокойная безжалостная сила, – наконец сказала Сима. – Они владыки над другими зверями в их жизни и смерти... – Сима подумала и закончила: – А все-таки жаль, что мы произошли не от этих благородных зверей, а от гнусных обезьян!

– А! И вы тоже! Я терпеть не могу эти пародии на человека, может быть, именно из-за их похожести на нас.

– Но почему тогда обезьяны пользуются таким успехом? – Сима показала на людей, столпившихся перед высокими стеклами обезьянника и со смехом восторгавшихся ужимками и кривлянием своих отдаленных сородичей.

– Потому, что мы сохранили частичку их психологии, увы, – расхохотался Гири́н. – Западные психологи назвали бы ее комплексом униженности. Вместе с развитием мозга обезьяны получили способность сравнивать и завидовать. Сознать свою неполноценность перед могучими хищниками или огромными травоядными. И, завидуя, они всегда рады поиздеваться, оскорбить, осмеять, тем самым удовлетворяя свое недовольство на безопасной высоте деревьев. Самые страшные завистники, ревнивцы и собственники – обезьяны, особенно такие, как павианы, казалось бы – стадные животные.

– Стадные, но не коллективные, – вставила Сима.

Гири́н согласно кивнул.

– И, к сожалению, насмехаться над непонятным, издеваться над слабым или больным, унижить чужого – нередкое свойство и homo sapiens, стоящего на низкой ступени культуры и дурно воспитанного. В частности, смех над обезьянами, мне кажется, того же обезьяньего происхождения. Вероятно, и корни садизма те же самые.

– Как жаль все же, что мы произошли от завистливых мещан в мире животных, а не от царственных львов или могучих слонов. Я согласна даже на быков! – Сима подошла к толстым рельсам загородки, за которой покачивал тяжелой головой огромный зубробизон.

– Вряд ли было бы хорошо – туповаты звери, – серьезно возразил Гири́н, – а со львом и тигром тоже не выйдет. Природа ничего не дает даром. И расплата льва за силу и нервную энергию – короткий век, в который не наберешь мудрости.

– А верно, что немецкий ученый возродил вымерших диких быков – туров – и что их уже целое стадо? – спросила Сима.

– Вероятно, в дальнейшем наука будет способна и не на такие чудеса. Действительно, все признаки туров есть у этой породы быков. Но все же это лишь подобие когда-то живших

туров, утратившие могучую силу, накопленную половым отбором за тысячи веков существования вида. У одного английского зоолога я прочел интересное соображение. Он считает, что одомашниванию могли поддаться лишь умственно дефективные особи. Я бы сказал о том же по-иному. Естественные виды животных – это средний стандарт, отобранный за миллион лет, та же мера и середина всесторонней пригодности, как и красота. А искусственно выведенные породы – это фокусы, отклонения, и без помощи человека они были бы вскоре сметены с лица Земли.

Гирин спохватился, взглянул на часы.

– Вы не опоздали? – встревожилась Сима. – Тогда бегите! Не беспокойтесь, я побуду здесь одна, мне надо подумать...

Пожатие крепкой руки, милый взгляд, уже не чужой, все понимающий, – и Гирин вышел на шумную Грузинскую улицу, сразу очутившись в мире спешащих и грохочущих металлом машин.

Сима вернулась на уединенную дорожку у оленьих загонов и замерла в раздумье, едва касаясь пальцами холодной проволоки. Под смех и редкие аккорды гитары к ней направлялась компания молодежи. Ее окликнули две девушки из гимнастической школы. Сопровождавшие их молодые люди тоже были знакомы Симе, веселые и музыкальные ребята из самодеятельности соседнего завода, дружная тройка, часто ожидавшая девушек после занятий.

– Серафима Юрьевна, какую смешную песню нам спел Володя! Ну-ка повтори для Серафимы Юрьевны! – воскликнула одна из девушек, обращаясь к статному парню с кудреватыми золотистыми волосами русского добра молодца. Тот устремил на Симу долгий, пристальный взгляд, и она сразу вспомнила. Этот взгляд всегда провожал ее, когда она встречалась с тремя приятелями. Парень упрямо свел четкие брови и вдруг согласился.

– Я спою другую! – Он озорно подмигнул товарищам и стал перед Симой в нарочитую позу певца. Звучным, хорошим голосом он начал старый романс о глазах, как море, от которых не ждешь ничего хорошего, в темной их глубине видятся странные тени.

В них силуэты зыбкие растений
и мачты затонувших кораблей.

Парень пел, а взгляд его выражал действительно мольбу о том, чего не могло быть. Чем больше настораживалась Сима, тем сильнее расходился певец, рвя гитарные струны. Парни улыбались, а девушки, женским чутьем поняв происходящее, притихли.

С бесшабашным шутовством парень рухнул на колени перед Симой, широко развел руки и отогнулся назад.

И я умру, умру, раскинув руки,
на темном дне твоих зеленых глаз! –

завопил он, нажимая на слово «умру».

Сима склонилась к певцу и тихо сказала:

– Зачем, Володя? Разве можно шутить, унижая себя и ту, для кого это делается? Ведь вы серьезный, хороший человек, глубоко понимающий музыку. Никогда не старайтесь представить свои чувства шутивными, это не поможет от них избавиться, а только... – Сима замолчала.

– Что – только, Серафима Юрьевна? – так же тихо спросил парень, вскакивая и машинально отряхивая колени.

– Только обесценит их. Для других и для вас самого. А что может быть хуже, как жить по дешевке?

– Что, получил, Володька? – хохотнула одна из девушек, но тут же осеклась от укоризненного взгляда Сима.

– Прощайте, Володя, и будьте всегда сами собой, – сказала Сима, протягивая руку молодому человеку, которую тот крепко сжал.

Сима ласково улыбнулась ему, попрощалась с ученицами и пошла, чувствуя на себе неотрывные взгляды пяти пар глаз.

Глава 7

«Экс сибера семпер нови»

– Пора бы сделать перерыв, Иван Родионович! – вырвалось у Веры, когда она получила распоряжение ехать за новой порцией лекарств. Это означало продолжение опытов, длившихся уже третью неделю без особенного успеха.

«Есть интересные факты, – думал Гири́н, – но все не то, что я ищу... Все не то». И чем меньше обещали опыты, тем яростнее работали все их участники. Гири́н даже ночевал в смежной с лабораторией комнатухе, и Вера была единственной, кто отлучался по делам. Накопился ворох протоколов – стенографических записей, устных рассказов или странных рисунков самих испытуемых, сделанных в моменты галлюцинаций, искусственно вызванной шизофрении. Оба – и Сергей и Иван Родионович – осунулись, побледнели, и сердце лаборантки не могло перенести такого небрежения к себе.

– Зря беспокоитесь, Верочка. – Голос Гири́на звучал совсем нежно. – Ничего не случится с Сергеем, а я закален. Мы слишком носимся с опасениями перегрузить мозг. Пустое, мозг способен усвоить непомерно больше того, что мы ему даем. Надо только уметь учить, а емкость мозга такова, что она вместит невероятное количество знаний. Следует усвоить, что можно и надо подвергать и весь организм перегрузкам страшнейшей работой, но только делать потом долгие отдыхи. Так мы устроены, такими мы получились в длительной эволюции, и с этим нельзя не считаться.

– Видишь, Вера, я что тебе говорил, – торжествуя сказал студент, – получила? Иван Родионович доказал, что мы, цивилизованные люди, мало нагружены и мало заняты. А для полной жизни и здоровья нужна полная нагрузка по всем трем линиям: для мозга, для эмоций и для тела. А у нас? То тело нагружено, а голова пуста, голова занята – тело бездействует, если равнодушно ко всему относиться, то и чувства тоже не будут волновать, стимулировать, давать взлет душе и телу. Как тебя никакие чувства ко мне не волнуют, оттого ты и такая... без огня и блеска!

– Сам-то какой блестящий, подумаешь! – рассвирепела Верочка, поворачиваясь спиной к Сергею. – Нет, Иван Родионович, при всем вашем авторитете не соглашусь с вами. Сколько бывает болезней от перегрузки работой!

– Все дело в том, какая перегрузка. Если выравнивать все три линии нагрузки, о которых говорил Сережа, то получится большой психологический подъем, который сделает весь организм невосприимчивым не только к усталости, но и к болезням. Возьмите войну – как редко болеют люди на войне, а ведь худших условий не сыщешь. И перегрузка самая чудовищная по всем линиям. Все ученые, конструкторы, художники, пока захвачены работой, матери с больными детьми не поддаются болезни. Восемьдесят процентов наших болезней – психические, то есть зависят от ослабления психики, за которой следует ослабление главных «биохимических осей» организма. Человек в отличие от животных приобрел могучее мышление и воображение. Животные автоматизированы в гораздо большей степени, чем человек. Поэтому все психические воздействия у них проходят и исчезают очень быстро, а у человека остаются надолго и могут быть причиной болезни. Но есть и другая, сильная сторона того же: человек обеспечен гораздо большей психической силой, что влечет за собой стойкость и выносливость организма, сопротивление смерти и тяжелой болезни значительно большие, чем даже у могучих животных.

– Нет силы с вами спорить, Иван Родионович, – сдалась лаборантка, – и все же...

– И все же отправляйтесь в аптекоуправление. А я сейчас позвоню нашей очередной жертве.

Словно в ответ на слова Гири́на, зазвонил телефон.

– Иван Родионович, вас просят срочно подняться в дирекцию, – сказала кинувшаяся на звонок Вера. – Изменений не будет?

– Нет. Поезжайте! Я сам вызову добровольца. Кто у нас на очереди?

– Женщина. Соловьева Татьяна Павловна, – откликнулся Сергей.

– Пожалуй, получится все же перерыв часа на три. Идите погуляйте, Сережа. Или съездите домой. Или пойдите с Верочкой. Работать будем весь вечер допоздна.

Проходя узкими коридорами и темными закоулками, отделявшими изолированную лабораторию от главного здания института, Гири́н досадовал на внезапное вторжение в свое отшельничество. Досада превратилась в беспокойство, едва он ступил на широкую, залитую светом лестницу. Будто бы раскрывалось и выставлялось на обозрение что-то его сокровенное, еще незрелое и беспомощное. С этой тревогой он вошел в кабинет директора. Болезненный директор неохотно привстал, здороваясь, и снова опустился в кресло. Рядом с ним восседал маленький коренастый профессор. Гири́н знал его как одного из заведующих лабораториями института. По лицам обоих угадывался неприятный разговор.

– Вы работаете у Вольфсона младшим сотрудником со степенью?

– Да, у профессора Вольфсона.

– И что же вы делаете у него?

– Я не уполномочен профессором обсуждать его работу даже с руководством института. Профессор заканчивает на дому свой отчет и, безусловно, даст вам все нужные разъяснения.

– Вот как, секреты!

– Никаких секретов. Элементарная субординация. И научная этика.

– По-вашему, мы неэтичны?

Гири́н молча пожал плечами. Директор неприязненно сжал губы. Вмешался сидевший с ним рядом профессор:

– Вы неверно поняли, товарищ Гири́н. Вас спросили не о работе вашего руководителя, а о вашей собственной.

– Простите, у меня пока нет своей работы, я выполняю лишь задания профессора Вольфсона. В плане института за мной ничего не значит.

– Не значит! – согласился директор. – Однако вы ведете какую-то свою работу, пользуетесь лабораторией, и дирекция ничего об этом не знает. Вы считаете это правильным?

– Ни в коем случае. Я провожу серию психофизиологических опытов по договоренности с профессором Вольфсоном сейчас, когда в его плановых опытах наступил перерыв. Я полагал, что профессор поставил вас в известность. Работа не имеет ничего общего с планом, проводится мною на свои собственные средства, и я пользуюсь лишь помещением и добровольной работой студентов, моих учеников.

– Что это за опыты по существу?

– Попытка раскрытия избыточной информации у одаренных эйдетикой людей.

– М-да! Далеко от чего бы то ни было в нашей тематике. Вам бы, наверное, надо работать у Кащенко. Ну и как же вы ведете это раскрытие?

– Эйдетик получает прием ЛСД-25. Это производное спорыньи, диэтиламид-тарترات д-лизергиновой кислоты. Оно уменьшает выброс фосфора из организма, подавляя действие гормона гипофиза. Тем самым нарушается важнейшая питуитарно-адреналиновая психическая ось во внутренней секреции организма и получается искусственный психоз типа глубокой истерии или шизофрении. На три-четыре часа.

– И зачем вам это нужно?

– Чтобы расщепить нормально сбалансированное сознание, отделив сознательный процесс мышления от подсознательного, и этим путем открыть подавленные сознанием хранилища избыточной информации. Я предполагаю, что в них хранится память прошлых поко-

лений, обычно вскрывающихся у человека только на низших ступенях нервной деятельности и гораздо более развитая у животных, с их сложными инстинктами и бессознательными действиями.

– Но ведь это чепуха! Мистика какая-то!

– Что и требуется проверить опытами. Кибернетику тоже не так давно считали чепухой. А именно кибернетика дала нам возможность впервые создать научное представление о работе мозга. То же будет и с памятью.

– Не намерен с вами спорить. Хотя стоило бы разгромить вас как следует.

– Мы много говорим о спорах. «Надо спорить, спорное утверждение, пьеса, книга» – встречается на каждом шагу. Но как-то забывают, что словесный спор – это всего лишь схоластика, не более. Единственный серьезный и реальный спор – делом, не словами. Спорный опыт – поставьте другой, спорная книга – напишите другую, с других позиций, спорная теория – создайте другую. Причем по тем же самым вопросам и предметам, не иначе. Я тоже не хочу спорить, а просто работаю.

– Работа ваша опасна! – внезапно выпалил директор. Гирин изумленно воззрился на него. – Да, опасна и безответственна. Подумали ли вы, что может случиться с какой-либо из ваших «морских свинок»? Что отвечать придется институту, мне!

– Позвольте, я вас не понимаю. Кто же может прежде всего судить об опасности и безопасности, как не те, кто работает? И кто, как не я – врач, – отвечает в первую очередь? Куда серьезнее, чем вы, тем более что и вся-то ваша ответственность в этом деле больше воображаемая.

– Достаточно. Надеюсь, вы поняли, что я намерен разобраться в этом деле. Кто разрешил использовать лабораторию для ваших опытов? Спасибо профессору Цибульскому, – директор кивнул в сторону сидевшего рядом, – я бы ничего не знал, пока гром не грянул!

Гирин хотел возразить, но лишь махнул рукой.

– Можно подумать, что вы бескорыстный поборник науки, – недобро вмешался Цибульский. – А что это такое? – И он помахал листком бумаги, который схватил со стола директора.

– Да, да, объясните, пожалуйста, – вскинулся директор. – Вы занимаетесь частной практикой?

– Не вздумайте меня допрашивать, потому что такие вопросы вне вашей компетенции. Но на просьбу сообщить извольте: никакой частной практики у меня нет. И не было с момента получения диплома врача. Конечно, при нужде в помощи никогда не отказывал.

– А потом ваши пациенты пишут восторженные письма нам в институт и доказывают, какой вы великий человек, – язвительно проговорил Цибульский.

– Не понимаю, откуда это! Перестаньте издеваться, профессор, это не прибавляет уважения к вам.

– Вот как? А вам прибавляет то, что вы заставили... – Цибульский назвал фамилию геофизика, – и мать и отца, у которых вы якобы спасли сына, писать сюда о ваших доблестях и дали адрес института?

Молниеносная догадка пронзила Гирину, и глубокое отвращение отразилось на его лице.

– Теперь я понял. Действительно, что мне вам сказать, – Гирин запнулся и продолжал: – Какую же надо иметь психологию, чтобы так принять естественную благодарность матери и так оценить мое в этом участие! Жаль, что еще не созданы машины для чистки мозгов от мусора, и особенно для ученых! Извините, товарищ директор, но вы ничего больше не хотите сказать мне? Тогда разрешите откланяться.

И Гирин, покинув начальство, стал медленно спускаться по залитой солнцем центральной лестнице.

– Видели, как мы его скрутили? В бараний рог! – воскликнул Цибульский, едва дверь кабинета закрылась за Гириным. – Ему ничего не осталось, как бежать.

– Да нет, – задумчиво возразил директор, – его уход не был похож на бегство. Так уходят только правые люди, и я тут, очевидно, сделал промах. Можете идти, – отпустил директор Цибульского, озадаченного таким оборотом дела.

Гирин шел в лабораторию бесконечными подвальными переходами и спокойно размышлял о случившемся. Жизненный опыт и знание психологии научили его не огорчаться из-за подобных столкновений с косностью, гнусностью или непониманием. «На то и существуют люди, подобные Цибульскому, чтобы ученый делался крепче, яростнее, убежденнее» – так перефразировал он старую поговорку. Конечно, он попросит помощи у партийной организации, чтобы убедить дирекцию и сохранить за собой лабораторию. Беда в том, что он сам не уверен в правильности своего пути с эйдестикой. Еще не добыты скольконибудь убедительные данные. Пусть неудачными окажутся эти первые опыты, все равно они лишь малая часть исследований, намеченных им в ближайшие годы!

Кто-то догонял его, учащенно дыша и в то же время не решаясь обратиться, шагал за его спиной. Гирин по какому-то древнему инстинкту терпеть не мог, когда кто-нибудь неотступно шел позади. Он резко повернулся, встретившись с взволнованным и серьезным Демидовым, которого знал как хорошего работника из лаборатории транквилизаторов.

– Иван Родионович, можно вас на два слова? Извините, что я так... на ходу, но в другое время трудно вас поймать – либо идут опыты, либо вас нет.

Гирин, немного досадуя на перебивку мыслей, подошел вместе с Демидовым к широкому окну нижнего этажа.

– Мне только один ваш совет, как психолога глубинных структур.

– Вы произвели меня в новый чин и новую специальность, – улыбнулся Гирин, – я ведь прежде всего – врач.

– Так и я тоже. Потому и советуюсь, – успокаиваясь, сказал Демидов, – вы работаете с ЛСД и другими галлюциногенами. А мне внезапно пришла в голову такая идея, что показала куда важнее всего, чем я занимаюсь сейчас. Издавна мечтой людей был напиток счастья, например в Ведах Индии, эта, как ее?..

– Сома?

– Да, да! И помните у поэта: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».

– Так вот хотите заняться изобретением напитка?..

– Лекарства!

– Все равно! Лекарства «Сон золотой»?

– Вот именно! Подумайте только...

– Давно уже думано. И отброшено.

– Но почему же?

– Чтобы видеть сны золотые, надо иметь золотую душу. А в бедной душе откуда возьмется богатство грез? Люди лишь отупеют и одуреют, как от алкоголя. Некогда вино вдохновляло поэтов, а теперь обесмыслившиеся от него до скотского состояния мужчины избивают детей и женщин.

– Значит, дело не в лекарстве?

– Вы поняли меня. Надо дать человеку богатство психики – вот за что мы, врачи, должны бороться. А без этого, как бы хорош ни был ваш состав, он неминуемо обернется бедствием, расслабляя торможение и высвобождая дьявола первобытных инстинктов.

Демидов сник. Гирин ласково погладил его по рукаву и пошел к себе.

Вернувшиеся полтора часа спустя Вера и Сергей застали его глубоко задумавшимся над одним из рисунков инженера-электрика: белым цветком, обвитым синей спиралью

на фоне сплошной черноты. Молодые люди почувствовали неладное, потому что все материалы и приборы были убраны, даже пучки проводов энцефалографа тщательно смотаны.

– Что-нибудь случилось, Иван Родионович? – испуганно спросила Вера.

– То, на чем вы настаивали, – небольшой перерыв в работе.

– Знаем, – воскликнула лаборантка, – это они... они давно уже косо глядели. Вы такой ученый, а у них просто младший сотрудник, и вдруг какие-то опыты. О, я их знаю!..

– Не стоит вашего огорчения, Верочка, – весело перебил ее Гирич. – Знаете что...

Но лаборантка не дала ему закончить мысль:

– Иван Родионович, если сегодня перерыв, то я скажу вам, я так обещала!

– Что, кому?

– Ей, она звонила, как только вы ушли, спросила меня, очень ли вы заняты, а я знала, что если вас позвали к директору, то помешают сегодня работать... и я сказала, что, может быть, не очень.

– И что же?

– И она попросила меня, если вы не будете заняты, передать вам, что сегодня в девять пятнадцать ее выступление по телевидению. Передача по второй программе, художественная гимнастика.

– Вот и хорошо! В утешение! Надо быть у телевизора в это время. Будем разбегаться, исследователи?

– Иван Родионович, – начал студент, – если хотите, то... можно ко мне, у нас хороший «Рекорд».

– Спасибо, Сережа. У соседей есть «Рубин», и ходить никуда не нужно. До завтра, верные мои ассистенты!

Оставшись одни, молодые люди убрали лабораторию. Внезапно Вера испустила горестный вопль.

– Что случилось? – подбежал испуганный Сергей.

– Дура я, самая что ни на есть. Забыла спросить у Ивана Родионовича. Теперь все пропало!

– Вот так беда! Позвонишь вечером.

– Да не то. Мне так хотелось увидеть, наконец, ее. И я решила, что буду смотреть телевизор во что бы то ни стало. А он как-то заторопился, и я забыла спросить: как же ее зовут? Выступает там много, как я узнаю? Эх, дура! – Сергей облегченно расхохотался:

– Любопытная дочь Евы наказана по заслугам. Но ваша милость недооценивает мои скромные способности. Ручаюсь, что я угадаю сразу, только придется смотреть телевизор у меня. Признаться, мне тоже не терпится, уж очень интересный наш Гирич, занятно, каков его выбор.

Сергей нахмурился, вдруг щелкнул пальцами и добавил:

– Удивляюсь я на скотскую тупость нашего начальства. Такие ученые, как Иван Родионович, очень нужны, прямо необходимы науке. Он – бездна знания, настоящий энциклопедист и всегда будет центром кристаллизации научных идей, всегда держать научную мысль на высоком уровне. Специальность его не имеет значения, ведь он не прямой изобретатель, а разгребатель огромной кучи бессмысленного набора фактов. Он прокладывает дороги сквозь эту кучу, за которой большинство просто не видит пути, а громоздит ее все выше.

– Ого, да ты соображаешь! – поглядела на студента с уважением Вера.

– А ты что думала, зря меня Иван Родионович позвал работать? – важно ответил юноша.

– Пошел хвастаться! Уверена, что не угадаешь. Я, быть может, по женской интуиции еще смогу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.